

АЛЬМАНАХ

АЗЪ

Выпуск 1



Издательское
предприятие
• ОБНОВЛЕНИЕ •

АЗЪ

Выпуск 1

АЛЬМАНАХ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Юрий Борев</i>	СТАЛИНЩИАДА	3
<i>Фазиль Искандер</i>	ОПОЗДАВШИЕ К ПИРУ	17
<i>Олег Борисюк</i>	СТУКАЧ	20
<i>Юрий Кобрин</i>	ПОСТФАКТУМ	31
<i>Анатолий Ананьев, Юрий Зайнашев</i>	ЖИЗНЬ И ПРАВДА	32
<i>Вадим Перельмутер</i>	ВЕК	37
<i>Димитрий Панин</i>	ЛОМ-ЛОПАТА	39
<i>Аркадий Штейнберг</i>	ВТОРАЯ ДОРОГА	46
<i>Сергей Юшенков, Николай Шульгин</i>	ГОРБАЧЕВ И ЕЛЬЦИН: ПОЛИ- ТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В ИН- ТЕРЬЕРЕ	47
<i>Светлана Соложенкина</i>	ИЗ ЦИКЛА «ЖИТЕЙСКИЕ ПЕРЕПУТЬЯ»	55
<i>Андрей Горшков</i>	УЧЕБКА	58
<i>Владимир Корнилов</i>	ВЕРСИЯ	70
<i>Мира Яковенко</i>	АГНЕССА	71
<i>Аркадий Сарлык</i>	ТИР	81
<i>Юрий Дружников</i>	КАК СЫН ДОНЕС НА ОТЦА	82



Издательское
предприятие
• ОБНОВЛЕНИЕ •
1991

АЗЪ
АЛЬМАНАХ
Выпуск I

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С. А. МИТРОХИНА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. П. ВОЛКОВА, А. М. ЗАЙЦЕВ,
А. И. КАРАНДЕЕВ, Ю. А. КУВАЛДИН,
М. А. ЩЕПЕТОВА.

Художник
Ф. Е. БАРБЫШЕВ
Технический редактор
Л. М. БЕСЕДИНА
Корректор
Т. С. ТИХОМИРОВА
На обложке рис. **А. МЕРИНОВА**

Сдано в набор 03.12.90. Подписано к печати 09.03.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,06. Усл. кр.-отт. 5,07. Уч.-изд. л. 7,15. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1351. Цена 2 р.

Издательское предприятие «Обновление». 109180, Москва, ул. Димитрова, 12.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.

ДОНОСЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Философ и искусствовед Михаил Александрович Лифшиц рассказывал о междоусобных схватках среди интеллигенции в 30—40-х годах. Политические ярлыки были метательными снарядами этой борьбы, а доносы, или, как тогда выражались, «своевременные сигналы», — ее орудиями.

— Участвовал ли я в этом? — спрашивал Лифшиц и отвечал: — Все участвовали и я тоже. Иначе нельзя было ни писать, ни печататься, ни существовать в литературе. Ну, например, Нусинов выступает в прессе и обвиняет меня в том, что я искажаю марксизм, отрицаю роль мировоззрения в творчестве или не признаю сталинское учение о культуре. В его своевременном сигнале дан набор проступков, тянущий на 58-ю статью. Если я промолчу, вполне возможно, что меня посадят. Чтобы избежать этого, я публикую статью, в которой доказываю, что Нусинов не признает диктатуру пролетариата или отрицает лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я даю шанс сесть в тюрьму и моему оппоненту. Я такой же доносчик, как и Нусинов, а то, что сажают его, а не меня, — это уж или лотерея, или убедительность аргументов и искусство полемики. Впрочем, сажали и вне зависимости от убедительности доводов в споре.

Сегодня эти признания могут показаться циничными, но в неэвклидовом моральном пространстве искусно сформированного противочеловеческого общества действовали моральные нормы человека, находящегося под пыткой.

Существовали устные и печатные доносы, публичные и тайные. Один из типов доноса — донос оборонительный, иногда даже и превентивный: человек знает, что кто-то поднял над ним дамоклов меч доноса, и бежит с доносом на доносчика. Это доносы самосохранения. Еще один тип доносов: идейные. Воспитанный с детства в сталинском духе человек, услышавший что-то, не соответствующее последним указаниям вождя, бежит сообщить куда надо. Это феномен Павлика Морозова, донесшего на своего отца.

Бывали доносы, рожденные коммунальным бытом. В Свердловске до сих пор стоит огромный странный дом нового быта — с одной кухней на много квартир. Он был построен для работников ОГПУ. Общая кухня в условиях всеобщего террора обернулась тем, что жители дома друг друга пересажали.

Я жил с отцом, матерью и сестрой в Москве, в маленькой

комнате, находившейся в общей квартире. Кроме нашей семьи там жили: семья вузовского преподавателя Штракса, рабочего Гелетина и семья людей без определенных занятий — Кажаткиных, возглавляемая пожилой женщиной, которую в доме и во дворе звали Кажаткой и боялись. Это была скандальная, резкая, грубая женщина с неустойчивой психикой и труднопредсказуемыми поступками. Тихий ее муж иногда где-то работал. Дочь была безобидная, несчастная женщина с алогичной речью и блуждающим взглядом. Сын — уголовник, периодически получавший срок и иногда на короткое время выходивший из тюрьмы, чтобы вскоре вернуться в нее.

Штраксы из боязни сумасшедших выходок Кажатки пытались задобрить ее. Гелетины же и моя мама сопротивлялись ее произволу и пытались установить социальную справедливость в пользовании газовыми конфорками, электричеством, местом в коридоре или ванной. Одним из способов борьбы Кажатки с нашей семьей были доносы. Она писала, что мы живем не по средствам: едим сливочное масло и у нас бывают гости. Мать боялась этих доносов: отец был исключен из партии, и мы представляли собой очень уязвимую мишень для своевременных сигналов. Слава Богу, по недостаточной осведомленности о более действенном адресе Кажатка писала доносы в милицию, а не в МГБ.

Бывали доносы из мести. Мне был 21 год, и я с большим трудом поступил в аспирантуру к профессору Илье Деомидовичу Панцхаве (аспиранты звали его между собой Илико). Однажды он вызвал меня и вручил книжку. Называлась она «Дазмир», автор некий П. А. Шария. Это поэма, написанная на русском языке. Книга не имела ни цены, ни каких-либо выходных данных, ни указания на издательство. В этом была ее странность. В остальном она походила на нормальную книгу: отпечатана хорошим шрифтом, даже на мелованной бумаге, красивый переплет.

Профессор сказал мне:

— Тебе нужно тренироваться в анализе художественных произведений. Даю тебе учебное задание: проанализируй эту поэму и выяви философское мировоззрение ее автора. Это будет твой реферат к кандидатскому минимуму по философии.

Поэма рисовала трогательную картину: горячо любимый единственный сын автора Дазмир — красивый, умный, талантливый, великодушный юноша — неожиданно умирает и благодаря своим достоинствам из земного мира отправляется в небесный. Сейчас душа его витает над нами и определяет с неба земные исторические процессы.

Как мог, я проанализировал поэму. Отчаяние отца, потерявшего сына, вызывало сочувствие. Беспомощность стихотворной техники — эстетический протест. Мировоззренческие же позиции автора были на уровне вульгарных представлений о религиозной картине мира. Эти представления перемешались у автора с мистическими идеями об особом божественном предназначении Дазмира, который трактовался как новый Христос. Все это я описал в моем реферате. Прочитав его, Илико остался не полностью удовлетворен моим сочинением, лишенным ярлыков, эпитетов и силь-

ных выражений, принятых в те годы. Он попросил меня доработать реферат и осветить расхождения концепции мироздания, нарисованной Шария в поэме, со сталинской концепцией, изложенной в четвертой главе краткого курса истории партии. Я проделал эту компаративистскую работу, и мой реферат был зачтен.

Вскоре выяснилось, что я невольный участник небезобидной и небезопасной истории, Шария же — не просто плохой поэт, невесть как издавший странную по тем временам поэму, а секретарь ЦК Грузии по идеологии и, главное, ставленник Берия.

Будучи одним из руководителей просвещения Грузии, Иликко насмерть схлестнулся с Шария, из-за чего и уехал в Москву. Однако враги по-кавказски не прощали старые обиды и дрались насмерть. Это была дуэль на доносах. Написанный мной реферат без моего ведома пошел в дело. Он был отредактирован Иликко и снабжен нужными идеологическими квалификациями. Сам Иликко, чтобы донос не выглядел сведением личных счетов, подписать его не решался, тем более что дело касалось близкого Берия человека. Тут-то и возник ныне покойный Михаил Федотович Овсянников, который с 60-х до середины 80-х годов возглавит кафедру эстетики в МГУ и сектор эстетики в Институте философии Академии наук и весь наш «эстетический фронт». В те давние поры сталинского безвременья он был отовсюду изгнан, и Иликко приютил его на своей кафедре философии Московского областного педагогического института. В знак благодарности донос на друга Берия, адресованный лично Сталину, бесстрашно подписал Овсянников, которому тогда было почти нечего терять. Иликко через свои связи обеспечил прямое попадание доноса в руки Сталина. Те мировоззренческие искажения ортодоксии, которые позволил себе Шария в своей поэме, и ее фактически нелегальное издание были кошмарными нарушениями имперского порядка. Берия ничем не смог помочь своему другу, разве что уберег от ареста. «Вот что. наделали песни твои».

ПОЛУПОЧЕТНАЯ ССЫЛКА

Сталин ревновал к славе Жукова. В историю вождь хотел войти полководцем, выигравшим войну. Жуков этому мешал.

После войны Сталин отправил маршала командовать Одесским округом. Однако через два года такая ссылка показалась Сталину недостаточной. Жуков был вызван в Москву. Сталин протянул ему бумагу, подписанную Берия и Абакумовым, утверждавшую, что Жуков более пятнадцати лет является агентом английской разведки. Маршал понимал возможные последствия подобного документа, но Сталин дружески положил руку на его плечо и сказал: «Я не верю этой бумаге. Однако видишь: здесь две подписи, машинистка печатала, в моем аппарате два-три человека знают текст. Поэтому придется отправить тебя куда-нибудь. Назначим тебя командующим Уральским округом».

Оскорбительна была не только новая форма ссылки, но и то, что вождь принимал маршала за дурака, не понимающего, что бумага Берия и Абакумова — дело рук Сталина.

НА ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ

Сталин ввел в экономику нашей страны массовый рабский труд: миллионы заключенных участвовали в великих стройках коммунизма. В 1950 году, после первого совещания молодых писателей, по путевке ЦК ВЛКСМ я был на одной из такихстроек — на сооружении канала Волго-Дон. Трудно сказать, имел ли этот канал какое-либо народнохозяйственное значение. Однако Сталин об этом и не думал: не ради экономики, а во имя славы и бессмертия вождя строился канал, как строились египетские пирамиды ради величия фараона. Меня и журналиста «Комсомольской правды», к которому я прибил, начальник бетонного завода старался удивлять допотопной механизацией. В этом заводе-автомате сохранилось огромное количество ручного труда. Только транспортировка составных материалов бетона к смесителю и их перемешивание происходили механически. Другие трудоемкие процессы совершались вручную. На трассе работали огромные шагающие экскаваторы. Однако рядом, на других участках, трудились многотысячные отряды охраняемых людей. Вдоль канала были расположены большие огороженные территории, там в бараках жили заключенные, а беспривязное содержание человека за колючей проволокой укрепляло его свободу. Из этих огороженных территорий по утрам охранники выводили своих подопечных на работы. Внутри — обнесенные колючей проволокой спецзоны с бараками-карцерами, где содержались штрафники. О роли заключенных в созидании великой стройки хорошо говорит не случайное решение: «На Волго-Дон — надолго вон».

Расконвоированные заключенные и ссыльные жили рядом с вольнонаемными в аккуратно построенных вдоль трассы поселочках, судьба которых после введения канала в строй была загадочно-неопределенной. В этой структуре великой стройки заключенные выступали как рабы, расконвоированные и ссыльные — как феодальные крепостные, а вольнонаемные — как пролетарии. В масштабах страны это дополнялось и феодализмом прикрепленных к месту жительства беспаспортных крестьян, и госкапитализмом централизованного производства, подвластного Сталину и бюрократии и не контролируемого (в силу попрания демократизма) народом, которому формально это производство принадлежало. Строй, предполагающий общественное владение собственностью, Сталин превратил в строй, в котором собственность формально принадлежала народу, а фактически находилась в руках вождя и сплотившейся вокруг него бюрократии. Борясь с помощью открытых и закрытых процессов, «троек», массовых посадок, расстрелов, лагерей с демократией, Сталин устанавливал свой порядок владения собственностью, отнимая ее у народа и превращая ее отчасти в бесхозную, отчасти в бюрократическую.

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛА

ТЕНЬ НЕМИЛОСТИ

Вскоре после войны Сталин давал прием в честь соратника Тито — Джиласа. Джилас произнес тост за Сталина. Все выпили, а когда он садился, Берия положил на его стул торт.

Превращение человека в шута было в порядке вещей при дворе Сталина. Видно, уже тогда на югославских руководителей легла тень немилости.

ДОПОЛНЕНИЕ

Симонов написал статью о Тито. Статья кончалась словами: «Настанет день, и в Белграде на центральной площади будет повешена кровавая собака Тито». Статья пошла на утверждение Сталину, и он дописал: «А под виселицей будет сидеть и выть маленькая шавка — Моше Пьяде».

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Руководитель чехословацких коммунистов Сланский в первые годы после войны организовал гонения на единоличников, на кулаков, на католических священников, на буржуазных интеллигентов, на видных партийных деятелей-коммунистов. При нем было вынесено по политическим мотивам 10 смертных приговоров и 48 к пожизненному заключению. В 1949 году Сланский обратился к Сталину с просьбой прислать в Прагу советских специалистов из МГБ. Вскоре сам Сланский был арестован.

Сталин направил Микояна в Чехословакию сломить Сланского. Посланец нашел ключ к стойкому и фанатичному коммунисту, прошедшему школу подпольной борьбы с фашистами. От имени Сталина арестованному было сделано такое предложение. Во имя разоблачения антикоммунистической предательской деятельности Тито Сланский должен признать, что Тито его завербовал и подбил вести активную враждебную деятельность. Состоится суд. Сланского приговорят к расстрелу — это необходимо для достоверности всей инсценировки, которая раскроет всю подлость титовского предательства. Однако расстрела не будет. Под другой фамилией Сланский будет послан на закрытую секретную работу. Сланский согласился и, к удивлению всех, на открытом суде признался во всех смертных грехах. Когда после приговора его повели на расстрел, он кричал: это ошибка, доложите Сталину, он знает, что мы договорились о фиктивном приговоре. Естественно, согласно режиссуре Сталина, расстрел должен быть настоящим.

ДИПЛОМАТИЯ

В 1948 году Сталин дал указание Вышинскому затянуть обсуждение Декларации прав человека в ООН. Вышинский попытался, но надолго затянуть это обсуждение не удалось. При принятии Декларации Вышинский по распоряжению Сталина воздержался.

НЕСОВЕРШИВШАЯСЯ МЕСТЬ

В 1956 году я познакомился в ЦДЛ с человеком средних лет, и он рассказал мне, что с одной из групп был послан в Югославию выполнить задание Сталина — убить Тито. Это была уже не первая группа. Засыпались сразу две-три группы, которые действовали независимо друг от друга и не зная друг о друге. Первые группы были обезврежены югославами. Группа моего собеседника, не выполнив задания, вернулась домой после смерти Сталина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда Сталин умер, люди Берия собрали на ближней даче — последнем пристанище вождя — все документы и бумаги и увезли их. Эти бумаги исчезли. Позже в тайнике письменного стола случайно была обнаружена записка на русском языке: «Сталин! Перестань засылать ко мне террористические группы, иначе зашлю одного человека и второго уже не понадобится. Тито». Говорят, что Сталин испугался предупреждения.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Тень Сталина долго лежала на советско-югославских отношениях. Когда Хрущев прилетел в Белград на переговоры с Тито, тот в сопровождении свиты встречал гостя. Один из высоких чиновников сказал Хрущеву:

— Россия и Сталин сделали нам так много плохого, что сегодня трудно доверять русским.

Воцарилась напряженная тишина. Хрущев подошел к говорившему, хлопнул его по плечу и сказал:

— Товарищ Тито, когда тебе понадобится провалить какие-нибудь переговоры, назначь главой делегации этого человека.

Смех снял напряжение.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ. БЕСКОНЕЧНЫЙ 37-Й

УЖАСНО, ЕСЛИ ПРАВДА

В войне наша страна понесла чудовищные потери — по официальным данным свыше 20 миллионов человек. Возможно, вдвое

больше. Количество калек после войны было огромным. Вели они себя независимо, терять им было нечего. Жили они впроголодь и бедственно. Говорили остро и безоглядно. Чувствовали себя обиженными судьбой и властью. Они знали, что отдали стране и победе жизнь и здоровье, и не стеснялись просить благодарности. Но ее не получали. При этом они всегда были на виду, в самых людных местах: на базарах, толкучках, рынках, у пивных, в электричках, около церквей. Их высказывания обладали острой убедительностью и взрывной силой. Они были дрожжами недовольства.

Предание говорит, что в 1948 году Сталин велел собрать всех неприжившихся и не приставших к семьям, одиноких и бездомных инвалидов-калек и уничтожить. Где-то в эту пору они и впрямь, кажется, исчезли...

НАБЛЮДЕНИЯ НАД НАЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Писатель Николай Иванович Кочин, автор романа «Девки», начитанный и образованный человек, просидел 10 лет. Был в Средней Азии, где-то на медных рудниках. Лагерь средний — тысяч двести (большие — миллиона полтора). Сидели там русские, украинцы, латыши, грузины, немцы, японцы и другие. Абсолютный интернационал. Каждая нация живет по-своему и сидит по-своему в лагере. Удивителен национальный тип японцев.

Они не переносили грубости и затыкали уши, когда вокруг матерились. Не воровали, хотя вокруг царило ужасное воровство. Внутри своего микросообщества заключенных японцы соблюдали внутреннюю субординацию и иерархию, соответствующую организационной структуре общества, при том что рядом унижали высший слой, презирали интеллигенцию, попадавшую в лагерь. Японцы оказались очень выносливыми людьми: в драке были ловкими и увертливыми, относительно безболезненно переносили невзгоды. Из них никто не умер.

Таковы наблюдения зэка, обладавшего острым писательским глазом.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В 1947 году кончился десятилетний срок, полученный в 1937-м всеми, кого не расстреляли. Многих выпустили. Очень скоро освобожденные были возвращены в лагерь.

ПРЕСТУПНИЦА

В лагере 12 лет сидела уборщица-чувашка, которая уронила и разбила бюст Сталина.

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ ОБЪЯСНЕНИЕ АНТИСЕМИТИЗМА СТАЛИНА

Поскольку грузинам не свойствен антисемитизм, Сталин, по мнению Утесова, своим антисемитизмом хотел доказать, что он не грузинского происхождения. Он видел себя царем Российской империи.

Корни антисемитизма у грузина понятны, если Джугашвили сотрудничал с жандармерией.

Сталину много лично досадили евреи, будучи соперниками в продвижении по партийной лестнице. Ненависть к Троцкому окрасилась национальным цветом.

В революционном движении было немало евреев, и некоторые из них оказались в высших эшелонах новой власти. Смену кадров старой партийной гвардии на руководителей сталинской школы удобно было вести под знаменем антисемитизма.

Сталин любил напряжение — «классовую» и всяческую другую борьбу: пока люди борются между собой, им не до тирана. Поэтому борьба с евреями, когда другие источники напряжения иссякли, стала для Сталина желанной.

В силу своей жизненно-исторической ситуации евреи — фактор, будоражащий общество. А Сталину не нужны были дрожжи в обществе.

Мертвый хватает живого. Сталин решил перехватить инициативу у Гитлера в окончательном решении еврейского вопроса.

ТАКАЯ СУДЬБА

Все народы уникальны и имеют неповторимую историческую судьбу. Уникальность жизненного положения евреев в середине XX века в том, что во все черные и звездные часы истории их судьба в силу сравнительно небольшой численности и отсутствия собственной государственности оказывалась незащищенной и зависела от общей судьбы человечества наиболее прямо, непосредственно, внятно и безусловно. Поэтому их дурные и добрые интересы и поступки часто поднимались с национального уровня на исторический и общечеловеческий. В этом феномен евреев — их беда, их судьба, их пресловутая «богоизбранность», от которой избави Бог и дай обыденную заурядную судьбу, какая часто выпадает другим, более счастливым народам. О подобном феномене говорили стихи Николая Глазкова:

Я на жизнь взираю из-под столика,
Век двадцатый — век необычайный.
Все, что интересно для историка,
То для современников — печально.

Отталкиваясь от мысли Льва Толстого, можно сказать: все народы счастливы одинаково и каждый народ несчастлив по-своему. Гитлер задал еврейскому народу неизбежно трагическую судьбу, его мас-

совое уничтожение — 6 миллионов из 12 живущих в мире.

Я вспоминаю стихи молодого поэта из литературного объединения, которым в 1946 году руководил Михаил Александрович Зенкевич:

Я знаю, конечно, не бог, не мессия —
На помощь евреям никто не придет.
И я становлюсь на колени перед народом России
И прошу его заступиться за мой несчастный народ.

И действительно, народы нашей страны, победив в войне, заодно заступились и за евреев, спасши от Гитлера тех, кого еще можно было спасти. От Сталина же и евреев, и другие народы спасла лишь смерть «отца» всех народов.

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Говорят, роман Эренбурга «Буря» Сталин назвал «бурей в стакане воды». Впоследствии у этой устной рецензии возникло неожиданное письменное опровержение.

Шла кампания борьбы с космополитизмом. Эренбург по всем параметрам подходил под объект для проработки: еврей, «западник». Много лет провел за рубежом, пишет об «их» мире и «их» людях, находя в них не только отрицательные, но и некоторые человеческие черты. И в «Правде», чтобы дать пример бдительности и активности в разоблачении «низкопоклонства перед гнидой — буржуазной культурой Запада», решили провести обсуждение романа «Буря».

Обсуждение длилось много часов. Ораторы выдвигали такие обвинения, что после каждого выступления впору было вызывать конвой, заключать писателя под стражу и приговаривать к высшей мере. Поскольку каждый оратор хотел превзойти других в бдительности, то обсуждение превратилось в крещендо обвинений. Эренбург на редкость спокойно слушал все речи. Через несколько часов обсуждения его спокойствие стало выводить ораторов из терпения, и они потребовали, чтобы дальнейшая дискуссия была предварена выступлением Эренбурга: «Пусть выскажет свое отношение к критике!», «Пусть не отмалчивается!»

Сценарий был давно отработан: обычно после самокритики («Пусть покается!») следовало обвинение («Не искреннее раскаяние!», «Двурушник!»).

Воцарилась выжидательная тишина. Эренбург нарушил ее:

— Я благодарен правдистам за внимание к моему произведению, за его единодушную оценку, за критические замечания. По поводу этого романа я получил большую читательскую почту, в которой оценки не всегда совпадают с теми, которые я услышал здесь. Позволю для примера процесть отзыв одного из моих читателей, приславшего мне телеграмму: «С интересом прочитал «Бурю». Поздравляю с успехом. И. Сталин».

Правдисты, сидевшие в зале и президиуме, очень естественно сыграли финальную, немую сцену комедии «Ревизор». Затем председатель собрания, преодолев оцепенение, сказал:

— На этом обсуждение интересного романа «Буря» считаю закрытым.

И все разошлись.

Сталин всегда проводимую им кампанию сопровождал отвлекающим маневром. Так поголовную коллективизацию вождь затушевывал статьей «Головокружение от успехов», борьбу с «правой оппозицией» — словами: «Мы не дадим крови нашего Бухарчика», борьбу с космополитизмом — похвалой Эренбургу.

УМЕРИТЬ ПРЫТЬ

Крупный работник ЦК Николай Федорович Головенченко, проводя кампанию космополитизма, перестарался. Он стал разоблачать Эренбурга как «бездомного бродягу» и антипатриота. По указанию Головенченко несколько газет и журналов без объявления причин вернули писателю его статьи, заказанные ко Дню Советской Армии, Эренбург обратился с письмом к Сталину, в котором пожаловался на Головенченко: «В трудные для Родины дни я чувствую себя как боец, у которого отняли винтовку».

Позвонил Маленков:

— Вы нам писали?

— Я писал товарищу Сталину.

— Товарищ Сталин посоветовал вам написать новые статьи для этих органов печати.

Головенченко на следующий день не впустили на работу в ЦК и отняли пропуск.

КТО ЕСТЬ КТО

После войны Сталин развернул очередную кампанию борьбы с очередным противником — космополитами. В духе этой кампании и исходя из общих принципов сталинской национальной и кадровой политики председатель Комитета по делам искусств предусмотрительно дал указание Большому театру сократить певца Рейзена.

Однажды к Рейзену, голос которого нравился Сталину, позвонил Поскребышев и предупредил, чтобы он был готов сегодня вечером выступать на приеме в Кремле. Рейзен ответил, что он уволен из театра и уже не выступает. Через некоторое время за певцом приехала машина, и он очутился в Кремле. Рейзен старался, и его пение понравилось Сталину. Тот подозвал к себе председателя Комитета по делам искусств и спросил, указывая на исполнителя:

— Кто это?

— Это певец Рейзен.

— А вы кто?

— Я — председатель Комитета по делам искусств.

— Неправильно. Это, — указывая на певца, сказал Сталин, — солист Государственного академического Большого театра, народный артист СССР Марк Осипович Рейзен. А вы — дерьмо. Повторите, — зло приказал вождь.

— Это солист Государственного академического Большого театра, народный артист СССР Марк Осипович Рейзен, а я — дерьмо, — послушно повторил председатель Комитета по делам искусств.

— Вот теперь правильно.

ИЗЪЯТИЕ НЕАРИЙЦА

В марте 1938 года фашистская Германия оккупировала Австрию. В 1942 году немецкий военный комендант Вены провел расово-идеологическое очищение вверенного ему города. Венскую оперу украшали бюсты великих композиторов, и, по сведениям коменданта, в их число незаконно проник бюст еврея — композитора Мендельсона. В сопровождении нескольких солдат комендант самолично влез на крышу оперы. Они обошли все бюсты, ища Мендельсона. Сделать это было непросто, так как больших культурных познаний у коменданта не было. Однако он был физиономист и знал арийскую теорию. Отличить еврея от нееврея было для него раз плюнуть. Комендант нашел композитора с самым крючковатым носом и самым неарийским выражением лица. По указанию коменданта солдаты обрушили бронзовый бюст неарийца на тротуар у театра, он разбился. Вскоре к ужасу коменданта выяснилось, что он ниспроверг не еврея Мендельсона, а немца Вагнера — любимейшего композитора Гитлера. За эту провинность бедного коменданта отправили на русский фронт, где он и погиб.

В 1950 году в ходе борьбы с космополитизмом такую же процедуру снятия — на сей раз не бюста, а портрета Мендельсона — проделали в большом зале Московской консерватории. Портрет Мендельсона вынули из медальона и убрали. При этом Мендельсона удалось ни с кем не спутать, что, несомненно, свидетельствует в пользу более высокой образованности и компетентности отечественных борцов за чистоту расы и идеологии и об их безусловном превосходстве над немецкими коллегами и единомышленниками.

ТРАГИЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ

В конце 40-х — в начале 50-х годов был арестован еврейский поэт Пфефер. В это время в Москву приехал Поль Робсон. Он спросил, правда ли, что Пфефер в тюрьме. Ему ответили, что с Пфефером все в порядке, и организовали с ним встречу. Два сотрудника привезли Пфефера из тюрьмы в гостиницу и остались внизу, а заключенный поднялся в номер к Робсону. Певец спросил о судьбе Переца Маркиша и других видных деятелей еврейской культуры. Пфефер сказал, что они живы-здоровы, и при этом показал на потолок, давая понять, что разговор прослушивается, а потом составил из пальцев решетку и сделал жест, означающий казнь. Робсон спросил: «А как твои дела?» Утверждая, что все хорошо, поэт повторил жесты. После этого два человека, утирая слезы, говорили о пустяках.

Через несколько дней на концерте в Ленинграде Робсон демонстративно спел еврейскую песню сопротивления, родившуюся в Варшавском гетто. Слушатели устроили овацию.

Вернувшись в США, Робсон рассказывал, что Пфефер, Маркиш и другие деятели еврейской культуры находятся на свободе. Позже он объяснял свой ответ надеждой натолкнуть Сталина на мысль, что ему выгодней сохранить жизнь деятелям еврейской культуры, чем убить их. Однако Сталин не внял этому намеку. Пфефер и Маркиш были убиты. По другой версии, Робсон не мог изболочить Сталина потому, что сын певца находился в Москве и фактически был заложником.

ПРЕДВЕСТЬЕ НОВОЙ КАМПАНИИ

Поэт Евгений Винокуров высказывал свою концепцию последней акции сталинской политики.

Сталин ощущал оголенность сибирских пространств и потенциальную опасность безлюдья Сибири. Неосвоенность Россией Аляски в свое время привела к ее потере: продажа за бесценок была в той ситуации единственным выходом. Сибирь оказывалась перед возможной угрозой со стороны США и Китая. То, что стало экономически иллюзорной целью строительства БАМа в 70—80-х годах, в сталинском сознании сформировалось как политическая задача в начале 50-х. Его решение было кардинальным, коварным, жестоким и по-своему «мудрым», если не учитывать его античеловечность.

Идея классовых врагов, врагов народа уже не работала. Переселить миллионы людей для заселения и освоения Сибири можно было с помощью другой идеи: борьбы с космополитизмом, а потом с антисемитизмом. Сначала выдвигаются обвинения в космополитизме, а потом в организации заговора врачей-убийц, и евреи выселяются в Сибирь для спасения их от священного гнева других народов. Это дало бы Сибири около трех миллионов человек, причем большой процент интеллигенции. В европейской части России при этом освобождались бы рабочие места, ресурсы, квартиры.

После выселения евреев (во имя их спасения от погромов — образец сталинской заботы о людях!) должна была начаться борьба с антисемитизмом как с националистической буржуазной идеологией.

Винокуров обращает внимание на то, что в разгар космополитизма Сталин опубликовал в собрании сочинений письмо, в котором называет антисемитизм преступлением, подлежащим в нашей стране суровому наказанию (вплоть до расстрела). Это, по мнению Винокурова, не просто прикрытие кампании по борьбе с космополитизмом, но выдвижение пока не нужного, но через время входящего в действие основания для новой кампании. Поскольку размеры борьбы с космополитизмом были очень велики (в нее вовлекались сотни тысяч людей, а эксцессы должны были придать этому еще и преступный характер), то число наказанных антисемитов должно было стать чуть ли не вдвое большим, ведь при осуждении космополитов выступало всегда не менее двух, а иногда до десяти человек. Борьба с антисемитизмом прибавила бы к трем миллионам высланных в Сибирь евреев еще несколько миллионов антисемитов. Таким образом

решались сразу несколько проблем: почти окончательное решение еврейского вопроса в России; освоение Сибири и стратегическое заполнение вакуума на востоке России; борьба против национализма и шовинизма; явление Сталина всему миру в лестной форме борца с антисемитизмом; создание новых источников даровой и квалифицированной рабочей силы для экономического развития Сибири.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ СПЕКТАКЛЬ

Илья Эренбург рассказывал мне, как в феврале 1953 года Маленков пригласил его в ЦК. В начале он хвалил писателя и объяснялся в любви к его творчеству, а потом сказал: «Прошу вас ознакомиться с одним письмом. Я ценю вас и отношусь к вам с читательской привязанностью, поэтому настоятельно советую подписать это письмо».

Эренбург внимательно прочел документ, под которым уже стояли подписи известных людей. В письме говорилось: мы, евреи — деятели культуры — воспитывали своих детей в антипатриотическом духе, мы и наши дети виноваты перед всеми народами Советского Союза, так как противопоставили себя им. Дальше шли перечисления социальных прегрешений евреев. И в конце покаяние: мы становимся на колени перед народами нашей страны и просим наказать и простить нас.

Эренбург отложил письмо и сказал:

— Я этого подписать не могу.

Маленков ответил:

— Желая вам добра, очень советую не отказываться. Иначе я не могу поручиться за вашу судьбу, которая мне дорога. Ваш отказ там, — Маленков при этом показал на люстру, — не поймут и не примут. Ваш отказ вызовет такие последствия, что я не смогу вам помочь.

Эренбург понимал, что простое отрицание документа, санкционированного, как это было понятно, Сталиным, невозможно, и привел лукавые доводы:

— Я не могу подписать это письмо, потому что партия и лично товарищ Сталин поручили мне руководить движением за мир. Я ответственно говорю, что публикация письма разрушит это движение. Я получил официальное заявление Жолио-Кюри и других видных западных деятелей, что они выйдут из движения за мир, если не получат неопровержимых данных о том, что дело врачей-убийц не инсценировано. Все это не позволяет мне подписать письмо, так как я отвечаю перед партией и товарищем Сталиным за движение за мир.

— Я по-прежнему думаю, что вам лучше подписать, — сказал Маленков. — Если же вы отказываетесь, я советую: все аргументы, которые вы мне высказали, изложите в письме на имя товарища Сталина и завтра передайте мне. Я обеспечу, чтобы ваше обращение попало в руки товарища Сталина. Однако я уверен, что это не повлияет на его решение. Письмо с подписями представителей еврейского народа будет опубликовано на следующей неделе в «Правде».

Эренбург последовал доброму совету Маленкова и всю ночь

писал письмо Сталину. Писал и рвал. Наконец ему удалось изложить свои мысли точно и корректно, с учетом психологии адвоката.

Далее события развивались так. Убедили ли вождя аргументы Эренбурга или же вторглись другие факторы, но коллективное письмо в печати не появилось. Почему? Сталин ушел из жизни и унес с собой ответ на этот вопрос.

Согласно сталинскому сценарию должен был состояться суд над «врачами-убийцами», который приговорил бы их к смерти. Казнь должна была состояться на Лобном месте на Красной площади. Некоторых «преступников» следовало казнить, других позволить разъяренной толпе отбить у охраны и растерзать на месте. Затем толпа должна была устроить в Москве и других городах еврейские погромы. Спасая евреев от справедливого гнева народов СССР, их предстояло собрать в пунктах концентрации и эшелонами выслать в Сибирь.

Хрущев пересказывал Эренбургу свою беседу со Сталиным. Вождь наставлял: «Нужно, чтобы при их выселении в подворотнях происходили расправы. Нужно дать излиться народному гневу». Играя в Иванушку-дурачка, Хрущев спросил: «Кого их?» — «Евреев», — ответил Сталин, наслаждаясь своим интеллектуальным превосходством. Утверждая сценарий депортации, он распорядился: «Доехать до места должно не более половины». По дороге предполагались «стихийные» проявления народного гнева — нападения на эшелоны и убийства депортируемых.

Так Сталин готовил окончательное решение еврейского вопроса в России, как рассказал об этом Эренбург.

Один из старых железнодорожников, живущий в Ташкенте, поведал мне, что в конце февраля 1953 года действительно были подготовлены вагоны для высылки евреев и уже были составлены списки высылаемых, о чем ему сообщил начальник областного МГБ.

БОЙ СО СТАЛИНЫМ

В начале 50-х годов один из северных лагерей в районе Магадана восстал. Заключенные разоружили вохровцев, перебили часовых и под руководством зека — бывшего военного ушли из лагеря многотысячной толпой. Это была большая армия, вооруженная чем попало, отчасти оружием, отнятым у охранников. Эта армия, которой нечего было терять, победно шла от одного лагеря к другому, сметая охрану и освобождая заключенных. Армия росла в геометрической прогрессии, от лагеря к лагерю обзаводясь новым оружием, новыми бойцами и запасами провианта. Понимая, что в Союзе они будут разгромлены регулярными войсками, предводитель восставших повел свое войско к Чукотке, чтобы перебраться на Аляску. Все заградительные отряды, которые бросались навстречу этому истинно «железному потоку», сметались с дороги. Мужчины и женщины шли через тундру к Берингову проливу. Тогда Сталин бросил против них боевую авиацию. На белом снегу тундры огромные черные людские массы представляли легкоуязвимую цель. Их громили прицельным бомбометанием и добивали штурмовики на бреющем полете. На многие километры по тундре оставался след кровавого месива от разбомбленной армии восставших арестантов.

Фазиль Искандер | ОПОЗДАВШИЕ
К ПИРУ

Опоздавшие к пиру
Пьют с расчетом, умно.
Веселятся не с жиру,
Им другое дано.

Захмелевшие гости
Кверху лица задрав,
Как бы с радостной злостью
Ошарашили: — Штраф!

Отшутиться потуги:
— Значит, снова штрафник?
Улыбаются други:
— Ты все тот же, шутник.

Значит, снова на пушку?
Значит, радуйся, цел?
Он гостей и пирушку
Трезво взял на прицел.

Пиджаки или фраки —
Не понять ни черта.
Поутихли вояки —
Только дым изо рта.

Изменились, поди-ка,
Поубавился пыл.
Только бывший заика
Заикаться забыл.

Отбивали ладоши,
Поднимали бокал...
Постаревший святоша
Алкоголиком стал.

И страшнее, чем маски —
(На бюро! На парад!)
Лица в желтой замазке,
Восковые подряд.

Опоздавшие к пиру
Пьют с расчетом, умно.
Веселятся не с жиру,
Им другое дано.

Недовольны, не в жилу.
(Закуси! Сулугун!)
Он берег свою силу,
Как дыханье бегун.

Он берег. А не слишком?
Сжал мучительно рот:
— Эту горечь, братишка,
Что-то хмель не берет.

Я кайлом и лопатой
Двадцать лет продолбил.
Я последний ходатай
Магаданских могил.

Значит, кончено? Крышка!
Променяли на снедь!
Эту горечь, братишка...
— Пред-ла-га-ется пить!

Словно обухом в темя
Этот радостный крик.
То ли рухнуло время,
То ли треснул ледник.

То ли в панике урки:
— Наше дело — хана!
То ли в радость придурки:
— Помянем пахана!

От напитков ударных
Зашатались миры
От снегов заполярных
До родимой дыры.

Как рубаху с размаху
Баянист рвет меха.
Разрывай хоть до паху —
Не замоешь греха.

Гости пьяны в дымину.
Именинника дичь.
Продымили домину,
Хоть пожарников клич.

Этот прямо из глотки
К умывалке прирос.
Как на тонущей лодке
Захлебнулся насос.

Разъезжаются гости.
В зверобойных мехах.
Отработаны кости,
Как на бойне в цехах.

А хозяйка устала.
Обескрыленный взгляд.
— Вы с вокзала?
— С вокзала.
Надо ж, как говорят,
Столько лет и событий...
— Да, такие дела...
— Ради бога, звоните,
Мне еще со стола...
В мутный час предрассветный,
Среди страшных утрат,
Что ему этот бедный
Грустной женщины взгляд?

Он уходит куда-то,
Лагерей старожил,
Одинокий ходатай
Магаданских могил.

Он уходит... Россия...
Скрип шагов. Тишина.
Словно после Батяя,
Спит вповалку страна.

1964 г.

Всем тем, кто вынес на своих плечах бремя войны и тяжесть «дедовщины», одновременно, посвящается.

Под вечер, когда жара начинает лениво уползать в ущелья, а горы, оцепившие бригаду со всех сторон, из лиловых становятся черными, в роте связи был устроен «шмон»¹.

Всех выстроили на дорожке перед расположением — выгоревшими палатками, похожими на белых птиц, распластавшими в стороны свои крылья. Взводные ходили по рядам и заставляли подчиненных выворачивать карманы, ротный заглядывал в каждую тумбочку и переворачивал матрасы, старшина копошился в каптерке, и даже машины в парке не остались без внимания — туда ушел замполтех.

Большинство роты, предполагавшее поначалу, что командир «шмонает» дембелей, стояло расслабившись — их это не касалось. Близились отправки в Союз, и одному Богу было известно, что повезет туда солдат в своем дембельском дипломате, кроме набора косметики, пары платочков и китайской авторучки, основательно одуревший от двух лет беспросветной службы, невыносимой жары и раскаленно-матового солнца. Находились уникамы, которые пытались протащить через границу пистолеты, наркотики, энтээсовские брошюрки или «духовские»² листовки, на которых тоненький черноволосый парень в шароварах разрубает на кусочки массивные серп и молот или же разламывает ракету, клейменную все тем же серпом и молотом.

Однако обыск был слишком широкомасштабным, и рота постепенно приходила в волнение, сжимаясь от страшного предчувствия надвигающейся опасности.

Через пару часов, когда сумерки окончательно поглотили все вокруг, а возле загоревшихся фонарей клубами начала носиться мошкара, все стало окончательно ясно.

Мокрый от своих усилий ротный высыпал на стол чарс³ различной формы, начиная от длинных трубочек и заканчивая небольшими темно-коричневыми кусочками, полоснул взглядом по напряженно замершей роте и коротко, зло выдохнул, словно отхарки-

¹ «Шмон» (солд. жаргон) — обыск, проверка.

² «Духи» (сокр. от афг. сл. «душман»). Духман — в пер. с фарси «враг», «противник».

³ Чарс — в пер. с фарси «наркотик». В данном случае — марихуана.

вал пыль, осевшую на легких за два с лишним года службы здесь.

— Ну все, мужики, нормальная жизнь закончилась. Начинаем жить по уставу. Думал, что с вами можно как с людьми, а вы не понимаете человеческого обращения. Косяки забываете, курите втихаря, бойцы Варшавского Договора! Мало вам того, что во втором батальоне скота поймали, который за чарс бачам⁴ продан, про операции⁵ им рассказывал — где и когда будут, — так сами к этому идете.

Рота, чувствуя за собой вину, затаилась не дыша, замполит тянул за рукав ротного, чтобы тот говорил хотя бы чуточку тише, но ротный, исходивший на операциях пол-Афгана, воевавший даже с наемниками и порядком посадивший здоровье на этой войне, уже заходился в крике и руки у него мелко-мелко тряслись.

— Сборище подонков! На кайф вас потянуло!? Жизнь опостыле-ла? Служба тяжелая? Потащиться захотели? Я вам устрою таски! Матери ваши ночи не спят, ждут вас, ублюдков, а вы здесь черт знает чем занимаетесь. Ну подождите у меня! Я вас научу! Я вам покажу! Я сделаю вам чарс! — бледнел ротный от бешенства и рвал из кармана листок бумаги.

Рота сдавленно молчала, стараясь угадать, что же будет дальше.

Чарс нашли у доброй половины солдат, за исключением молодых и тех, кто вообще не курил. Даже у Валерия Пака — отличного парня, классного специалиста, секретаря комсомольской организации роты оказалась трубочка. Когда замполиту сказали об этом, он окаменел и посмотрел на Валерку так, будто является тот резидентом американской разведки.

А ротный уже громко, резко выкрикивал фамилии, будто камни швырял в толпу.

Вытянувшаяся в струнку рота звонко откликалась разными голосами. Названные, обреченно вздыхая, но четко печатая шаг, выходили из строя. Вскоре на месте роты осталась жалкая кучка людей, растерянно перебиравшая ногами на месте.

— Ах, дембеля, — вдруг умилительно протянул ротный, — я сделаю вам отправку. Вы уедете у меня... в последней партии, — и, больше не выдерживая, ротный рявкнул: — Нале-во. К каптерке, шагом марш!

Рота затопала, закачалась мимо палаток, за ней пошел ротный, бросив через плечо офицерам и прапорщикам: «Идите в модуль⁷. Отдыхайте. Я их вещи проверю». В каптерке проверка вещей проходила следующим образом.

Ротный по одному вызывал к себе тех, кто погорел на чарсе. Когда очередной переступал порог, старшина ногой захлопывал дверь, а ротный манил солдата к себе.

⁴ Бача — в пер. с фарси «парень», «приятель». Наши называли так афганцев или обращались так друг к другу.

⁵ Операция — боевые действия.

⁶ Тащиться (солд. жаргон) — расслабляться, отдыхать, не обязательно после употребления наркотиков.

⁷ Модуль — сборный щитовой дом. В модулях размещались казармы, штабы, магазины. В данном случае имеется в виду офицерское общежитие.

— Куришь?— коротко спрашивал он.

— Курю.

— Так,— удовлетворенно констатировал ротный и кивал старшине.— Понял, Борисыч, курит падла.

И, отступая шаг назад, он затем резко переносил тяжесть своего тела на левую ногу.

— Получи, сучара!

Любитель чарса, как кегля, валился на пол, но, слыша сдержанное рычание ротного, тут же вскакивал и вытягивался перед ним по стойке смирно.

— Пшел вон, негодяй! Еще узнаю, что куришь чарс — при-
бью,— грозился ротный, потирая изрядно разбитый, дрожащий кулак и устало выкликая:— Следующий!

А жертва повального увлечения в бригаде моментально вы-
кальзывала из полутемной каптерки, радуясь про себя, что все так легко обошлось.

Досмотр вещей закончился только к отбою.

После того как бригада погрузилась в сон, дембеля, ново-
испеченные «дедушки» и особо пострадавшие из «черпаков» сош-
лись в одной из палаток с единственной целью — выяснить, кто их заложил.

То, что поработал кто-то из своих, сомнений никаких не было: проверяли в первую очередь тех, кто и в самом деле втихаря покуривал. А потом тайники — об этом никто из офицеров не знал.

После долгого обсуждения тех, кто не попал в «черный список», остановились все-таки на Веткине.

— Подумайте сами, мужики,— горячился один из дембелей, угрюмый и неповоротливый москвич по кличке Москва,— чарс не курит, молодых жизни не учит, перед офицерами на цырлах ходит, сам из себя такой интеллигентный. Больше некому — только он.

Собравшиеся выслушали это с одобрительным молчанием и единогласно постановили: это он, Веткин. Больше действительно некому.

Теперь появлялся другой вопрос: что с Веткиным делать? После короткого спора решено было Веткина «зачмонить».

— Мы трогать его не будем,— сказал все тот же Москва, видимо, более других думавший над этим вопросом,— тронем дерьмо — оно завоняет. А до прокуратуры здесь пару шагов. Я домой хочу. Но Веткина «зачмонить» надо обязательно и сделать это должны «духи».

На том порешили и разошлись по палаткам — спать.

* * *

Для того чтобы лучше понять весь ужас положения Веткина, надо знать строгую иерархию, которая существует в солдатских массах, и Афган здесь не является исключением.

На первой, самой низшей ступени те, кто в Афганистане всего полгода,— это «духи» или «душары». У них одна привилегия — больше и дольше всех работать, беспрекословно подчиняться старшим призывам.

Вторые полгода службы — «черпаки», этим дышится заметно вольготнее. Они надзирают за «душарами» в ходе работ: уборка территории, паркохозяйственный день, работа на технике. Кроме того, они и добровольные наставники: где кулаком, а где и словом учат молодых уму-разуму в постижении таинств армейской службы. «Черпаки» — основной аппарат угнетения и подавления всякой самостоятельности «духов». Судите сами, еще недавно вы стирали «дедушкам» «хб», подшивали воротнички, застилали койки, разгребали дерьмо в туалете, стены которого черные от мух. А теперь, с появлением новой поросли, новой смены, эти обязанности переходят к ним.

Ах! Какое это сладостное время! И «черпаки» пользуются им с наслаждением, безоглядно. Эта безрассудность порой приводит к тому, что перегибают они палку, чрезмерно усердствуя в привитии необходимых навыков своим подшефным. Но «черпаки» не всемогущи. Существуют еще и «дедушки», которые сдерживают особенно ретивых наставников.

«Дедушка» — это третья ступень вверх по заветной лестнице к дому. «Дедушки» не занимаются молодыми, отдавая их на откуп «черпакам», практически не вступают с «душарами» в контакты, но зорко следят за тем, что происходит в подразделении. И не в меру расхоронившихся в своей воспитательной деятельности «черпаков» они ставят на место. Безусловно, «дедушкам» нужны порядок и исполнительность, но им не нужен террор, который может привести к разбирательствам, а следовательно, к ущемлению всех их прав и привилегий, заработанных тяжелой полутороговой службой на этой раскаленной земле.

У «дедушек» другие заботы. Великие и святые заботы! «Дедушки» думают о заветном дембеле, рыщут по бригаде в поисках парадной формы, создавая ее почти из ничего, проявляют немалую изобретательность при оформлении дембельских альбомов. Короче говоря, занимаются всей той огромной и беспокойной работой, которая известна всякому уважающему себя «дедушке», желающему гордо, во всеоружии, ступить на родную землю. Эти заботы не идут ни в какое сравнение с мелочной суетой самоутверждения «черпаков». У «дедушек» одна мысль, одна мечта — утвердить себя там, в той далекой и прекрасной жизни, откуда они пришли и куда собираются вновь вернуться после приказа.

Ну, а приказ возводит солдата на самую высшую, самую заветную ступень, которая ведет прямо к порогу дома. Остается лишь руку протянуть, чтобы открыть дверь. После приказа ты — «дембель».

«Дембель» — это совершенно ошарашенная от счастья часть воинского коллектива. В этот день газеты с приказом в бригаде самым непостижимым образом исчезают из всех подшивков. Приказ торжественно вырезается и клеивается на последнюю страничку дембельского альбома рядом с портретом министра обороны, подписавшего сей драгоценный документ. Приказ в альбоме — это точка в армейской службе. И пишет после отбоя в какой-нибудь из палаток «душара», становящийся автоматически «черпаком», в сладостном ожидании молодых из Союза:

Дембель стал на день короче,
Старикам — спокойной ночи,
После слова мерзкого — «отбой»
Пусть приснится дом родной,
Море водки, пива таз,
Ну и дембельский приказ.

А «дембелям» не до сна. Бессонница прочно их берет в тиски. Они долго ворочаются в постелях, тяжело вздыхают и ежеминутно выходят покурить. Сладкие грезы не дают им спокойно уснуть.

И все оставшееся до отправки время они только тем и занимаются, что в сотый раз утюжат свою форму, перебирают нехитрое содержимое «дембельского» (за 55 чеков) дипломата и гадают, когда же будет отправка. А «душары» еще такие зеленые, как поля афганцев за проволокой, колючим корсетом стягивающие бригаду со всех сторон, с завистью и тоской смотрят на «дембелей», мечтая о том времени, когда и они будут с полным на то правом произносить священные и сладкие для каждого солдата слова: «дембель», «первая партия», «отправка»...

Вот из такой жизни и выламывался сейчас Веткин. Минул год службы в Афгане, а недавний приказ возводил его на третью ступень, наделяя при этом всеми солдатскими привилегиями, соответствующими высокому званию «дедушки Советской Армии и ограниченного контингента Советских войск в Афганистане».

Однако Веткин, так и не успев вкусить всех прелестей этой жизни, становился «чмом», а следовательно, даже не «вне», а «под» коллективом.

«Чмо» — это неизмеримо страшнее, чем «душара». У второго — прямая дорога к почетному «дембелю», у первого — тяжелый, тернистый путь на свою Голгофу.

Быть «чмом» означает одно — ишачить, не разгибаясь, до самого последнего дня, испытывая при этом унижения и издевательства со стороны всех, особенно со стороны «духов». Им, вечно затурканным работой и старшими призывами, всегда приятно осознавать, что есть еще кто-то, ниже их стоящий, и его можно пнуть просто так.

Итак, жизнь для ничего не подозревающего Веткина наступала страшная.

На следующее утро Ковалев, хмырь и «душара», перевернул застенную постель Веткина, дерзко смотря при этом на ее хозяина. Веткин сначала остолбенел от такой наглости, затем было рванулся в сторону Ковалева, но вокруг того уже выросли угрюмые дембеля: «Молодого биты! За что? Он же нечаянно».

Веткин растерянно посмотрел по сторонам. Вокруг с перекошенными от злости лицами стояли те, с кем он год тянул нелегкую солдатскую лямку. И даже молодые обнаглели до того, что осмеливались смотреть на Веткина с презрением и ненавистью. Он разом все понял и похолодел от ужаса.

— Это не я, пацаны! Гадом буду — не я стучал,— зашептал Веткин, облизывая пересохшие губы.— Не я! Не я стучач! Чтоб мне сдохнуть на этом месте!

Закричал он, быть может, надеясь хоть этим доказать свою невиновность.

Но вперед уже выходил Москва, поигрывая нарощенными к дембелю бицепсами и демонстрируя всем собравшимся еще раз новенькую, почти черную наклочку «ДРА» на правом плече.

— Пацан у тебя в штанах,— с отвращением глядя на Веткина заявил он.— Здесь нет для тебя больше ни пацанов, ни братишек. А что сдохнешь ты — это точно,— загадочно пообещал он и, с силой пнув носком кроссовки подушку, подвел итог.

— Заправляй, гнида!

Веткин обвел взглядом палатку, понял, что ему не поверят и представил, что еще его ожидает впереди. Плечи его опустились, и он медленно начал застилать кровать.

Несмотря на то, что ротный обещал задержать отправки, все «дембеля» улетели в установленные ранее сроки. Штаб есть штаб, и списки, составленные им, были уже давно утверждены и подписаны.

Как ни старался ротный задержать своих — сделать ничего не смог. Потому что не называл главной причины. А скажи ее, быть может, «дембелей» еще быстрее выпихнули бы из бригады, в первой партии, а ротному выговор вкатили за то, что таких придурков воспитал.

«Дембеля» улетели, а перед отъездом, крепко обнявшись со всеми, кроме Веткина, наказали, кивая на него, одиноко стоящего чуть поодаль: «Падлу чмонить!» Наказ этот в роте соблюдали свято. Стучачей нигде не любят, особенно в армии, где жизнь каждого у всех на виду и где все знают об этой жизни почитай всё.

Для Веткина наступили черные дни. От подъема до отбоя он не знал отдыха, и даже ночью дневальные не забывали несколько раз разбудить Веткина, интересуясь, не снится ли ему, как он на своих товарищей стучит. Дежурство по роте означало, что не спать ему сутки, ибо никто из наряда и не думал сменять его ночью. Все дневальные, включая молодых, спали, а Веткин одиноко стоял под грибком возле телефона и медленно сглатывал текущие по щекам слезы. Иногда у него появлялась законная возможность побыть немного вне роты и даже поспать. Это счастливое время наступало для него в наряде по офицерскому модулю. Старшина, давно заметивший что-то неладное с Веткиным, несколько раз подкатывал к нему с расспросами, но Веткин отмалчивался и лишь просил старшину ставить его по возможности в наряд по модулю.

Сейчас сидит Веткин под деревьями на лавочке возле модуля и тихонечко дремлет, уткнувшись лицом в колени.

В модуле режут магнитофоны, громко смеются и разговаривают люди. Музыка становится совсем оглушительной — где-то открылась дверь и кто-то, тяжело ступая, пошел по коридору в сто-

рону выхода — на Веткина. Тот с трудом поднял голову, всматриваясь в яркий прямоугольник выхода — в нем, покачиваясь, стоял командир разведроты Иволгин. Шагнул к Веткину. Тот вскочил.

— Сиди, — небрежно бросил руку вниз Иволгин, заметив в темноте замершего солдата. — Я и сам присяду.

Прикуривая, он поднес спичку к лицу своего соседа.

— Веткин, ты что ли?

Он дунул на огонь, обдав Веткина запахом сивухи.

— Я, товарищ старший лейтенант.

— А-а, — протянул Иволгин, выдыхая дым, — ну как твои дела? Как жизнь? В горы еще со мной пойдешь? Не задолбался еще рацию таскать?

— Нет, нет, — заторопился Веткин и дрогнувшим голосом попросил, — дайте, пожалуйста, закурить, товарищ старший лейтенант.

— На, — ткнул ему пачкой в руку Иволгин, — но ты вроде не куришь?

— Не курю, а сейчас, вот, закурил, — сказал Веткин и тут же закашлялся.

— Гадость это, Веткин, — засмеялся Иволгин, хлопая его по плечу. — Если раньше не курил, то и не начинай. Хорошего мало. Я по себе чувствую. Но поделать ничего не могу. С гор придется — трусит всего. Тут не только закуришь. Д-а!

Он помолчал немного.

— Сережку моего помнишь?

— Какого Сережку? — не понял Веткин.

— Разведчика моего, рыженького такого? Он еще на кепке пакистанской «РР», чертенок, написал. Рыжий разведчик. Его так все и звали — Эр-Эр. Так вот, умер Сережка. Вчера умер, в Кабуле. Поздно ногу ему отрезали. Еще один умер! — Иволгин покачал головой.

— Вот и я хочу умереть, — тихо, бесцветно сказал Веткин, чувствуя, что не скажи он сейчас Иволгину обо всем происходящем, то действительно пропадет.

Командир разведроты быстро взглянул на него.

— Да ты что, бача? С ума сошел? Что случилось? Девчонка бросила? Ерунда это все! Новую найдешь!

— Нет у меня девчонки.

— А что же тогда?

Иволгин был окончательно заинтригован.

— Чмонят меня, товарищ старший лейтенант, свои же и чмонят. Скоро в гроб загонят.

— За что?

— Ротному кто-то заложил, что у нас чарс курят. Он проверил, поймал кого надо. Теперь злой на всех — гоняет целый день, контролирует. А все думают, что я заложник, товарищ старший лейтенант, — торопливо зашептал Веткин, и крупные, как фасолины, слезы внезапно покатались по его лицу. — Я никому ничего не говорил, честное слово. А они мне не верят — презирают, не разговаривают со мной. В палатке спать уже не могу, всю ночь будят. Так я в камышах ночую или в штабе, когда там друг дневалит. А за что они меня так? За что? Сегодня на обеде «дух» один суп мой на пол вылил. Я знаю, его «деды» научили. А «духов» я бить не могу. Не по-

тому, что «дедов» боюсь, Нет. Просто я и раньше их никогда не бил. За что их бить? Их же заставляют! А зачем? Зачем? Все против меня. Все, даже земляки.

— Ну, ну, успокойся, Веткин. Успокойся, дружище,— гладил его по вздрагивающим плечам Иволгин.

Но от этого у Веткина слезы прямо-таки лились рекой, и он продолжал шептать, глотая теплую, соленую влагу.

— Что мне делать? «Дедам» в палатку гранату кинуть, как два месяца тому назад в первом батальоне? Или как Ахмедов к «духам» бежать? Да и не бежал он вовсе.

— Что?!— изумился Иволгин.

— Не ушел он, товарищ старший лейтенант. Мне пацан из его взвода рассказывал — он от «дедов» за бригадой прятался. Убежал после поверки, чтобы его «деды» не побили. За минными полями хотел ночь отсидеться. И уснул там, а его «духовские» разведчики, которые вокруг бригады ходят по ночам, нашли. Это потом комбриг сказал, что он предатель. А он не предатель. Пацаны-таджики с бачами из кишлака разговаривали. Так те рассказывают, что бежать хотел Ахмедов, но его поймали и подальше в горы увезли. А все: «Предатель! Предатель!» — всхлипывал Веткин.

— Да! Дела!— Иволгин заметно протрезвел.

— Вот видите, и Вы не знали ничего. А я не хочу быть предателем. Хотя, если посудить, то наши хуже «духов», потому что своих мучают. Что мне делать? Застрелиться? Подорвать себя? Сколько раз я хотел так сделать. Да маму жалко. Ведь наша семья — всего два человека: я и она,— рыдал Веткин, стуча зубами.— Как представлю, что увидит она цинковый гроб, так плохо становится. Умрет она. Умрет, не выдержит. Только поэтому еще и живу.

— Как же ты сюда попал, если один у матери? Ведь есть приказ!?

— Не знаю,— на миг утопил голову в плечах Веткин,— послали в учебку, а потом сюда. А когда все выяснилось, то поздно было. Вернее, даже не поздно. Просто я командиру сказал, что в Союз не поеду. Буду служить здесь.

— Почему?

— Да Вы что, товарищ старший лейтенант?— Веткин перестал плакать и с обидой взглянул на Иволгина.— А что ребята скажут? Что подумают обо мне? Что струсил, да? Нет, я так не хочу. Вместе с ними приехал, вместе с ними и уеду.

— А мама как к этому отнеслась?

Веткин покачал головой.

— Не знает она ничего. Я пишу, что я в Монголии. Дружок мой там служит. Так раньше, что он мне про Монголию напишет, я то все маме пересказываю. А недавно я книжку про Монголию нашел. Сейчас оттуда кое-что списываю. Мама все просит фотографию прислать. А что я ей пришлю? Она сразу поймет, где я. Представляете, что с ней будет! Так я пишу, что нельзя нам вообще фотографироваться — приказ такой вышел, потому что часть у нас особо секретная.

— Да, конечно,— тихонечко засмеялся Иволгин,— секретнее некуда. Все бачи в округе знают, что у нас и как у нас.

— Что, что?— не расслышал Веткин.

— Нет, ничего,— командир разведроты перестал смеяться и уже серьезно предложил:— А почему бы тебе обо всем командиру или замполиту не рассказать? Они, я больше, чем уверен, тебе помогут.

— Да знаю я, товарищ старший лейтенант. Знаю. Но если они за меня заступаться начнут, тогда все точно подумают, что я заложник. А я ведь не заложник. Я ничего не рассказывал,— снова тихонечко заплакал Веткин.

Иволгин чиркнул спичкой, закурил и некоторое время молчал, о чем-то раздумывая. Рядом с ним съежился плачущий Веткин. Иволгин положил руку ему на плечо, тот замер, а Иволгин очень спокойно, почти равнодушно сказал:

— Я знаю, что это не ты стучал. И даже знаю, кто это сделал. Успокойся. Все будет в порядке. Ни командир, ни замполит ничего знать не будут — не бойся. Все будет хорошо. Поверь мне.

— А кто это?

— Я тебе не скажу. Но его здесь нет. Он улетел.

— Дембель?

— Да!

Веткин недоверчиво посмотрел на Иволгина. Тот по-прежнему курил, бесстрастно глядя на мерцающие огоньки бригады. Веткин шмыгнул носом, вытер рукавом мокрые щеки и осторожно попросил.

— Товарищ старший лейтенант. Дайте, пожалуйста, сигарету. Иволгин засмеялся, шурша пачкой.

— Говорю же — курение дрянь. Нет, не верит.

— Я верю Вам, очень верю,— прошептал Веткин,— но это я теперь от радости покурю.

Иволгин потрепал Веткина по плечу, встал и пошел в модуль. А возле скамейки стоял Веткин и дрожащими пальцами держал сигарету.

На следующий вечер после поверки в своей роте Иволгин пошел к связистам. Под грибком в повязке дежурного со штык-ножом на бедре томился Рушманас — высокий, крепкий прибалт.

Иволгин подходил к палаткам. Услышав шаги, Рушманис завертел головой, а увидев командира разведроты, заулыбался и приложил руку к панаме.

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант.

— Здорово, Гитас!— улыбнулся в ответ Иволгин, протягивая руку.— Как дела дома?

Ему нравился этот немногословный, жилистый парень, которого он несколько раз брал с собой в горы. Он знал, что у Гитаса дома жена и маленькая дочурка, по которым Гитас очень тоскует, потому и пишет им толстенные письма. В горах все узнаешь. Вечером, на привалах, почти всегда заходит речь о доме. И даже замкнутый Гитас не чурался таких разговоров.

— Хорошо, товарищ старший лейтенант. Дочурка уже ходит. На фотографию мою показывает. «Папа» — говорит. Это ее жена научила.

— Да, счастливый ты,— вздохнул Иволгин,— а у меня вот-вот

должен кто-то родиться. Все почему-то парня хотят, а я девочку. Не знаю, почему. Но хочу дочурку. Счастливый ты.

Гитас смущенно покраснел:

— А в горы когда, товарищ старший лейтенант?

— В горы? Как только — так сразу!

— А меня возьмете?

— Куда я без тебя, Гитас? — засмеялся Иволгин.

Засмеялся и Рушманис, доставая сигареты. «Прошу, товарищ старший лейтенант!»

Иволгин мельком взглянул на них.

— «Нищий в горах»⁸. Нет. Спасибо. Это ты для боевых прибрежи — там покурим. А сейчас лучше мою «Яву».

Гитас отказываться не стал. Они закурили.

— Гитас, за что вы Веткина чмоните? — Тот насторожился, опустил глаза. — Ну, так, за что, Гитас? — наседал Иволгин.

— За дело, товарищ старший лейтенант, — наконец ответил Рушманис.

— Хорошо, — удовлетворенно протянул командир разведроты. — Гитас, я специально шел сюда, чтобы поговорить с тобой, потому что тебя я знаю давно и верю тебе, как себе. А что ты скажешь, если узнаешь, что Веткин не стукач? Если это именно я тебе скажу?

Рушманис на мгновение задумался, а потом ответил.

— Я Вам поверю, но ребята мне не поверят.

— Поверят, Гитас, поверят, — жестко сказал Иволгин, бросая сигарету на землю. — Ты самый авторитетный в роте. Ты да Валерка Пак. Я же дружу с вашим командиром и знаю, кто есть кто. Вас двоих особо уважают: и за честность, и за награды, и за храбрость. Просто скажи, что ты не веришь мне. Не веришь? Так ведь?!

Гитас промолчал. А Иволгин, выждав немного, твердо сказал.

— Не поверишь мне — парня погубите. То, что это не он — слово даю.

Рушманис, который сам долго носил на своем лице знак командирской «проверки вещей», взглянул Иволгину в глаза.

— А кто?

— Между нами?

— Да! Чтобы мне домой не вернуться!

— Посмотрим, — кивнул головой Иволгин и прибавил. — Москвич.

— Москва?

У Рушманиса округлились глаза.

— Да, — разозлился Иволгин. — Да. Это он. Я был у ротного, когда к нему пришел москвич. Ротный давно обещал ему сделать последнюю партию. А москвич просил его это не делать. Ротный рассердился, хотел послать его куда подальше, но в этот момент в комнату зашел начальник связи. Вот он и сказал москвичу: «Даешь мне список тех, кто курит чарс, — уходишь в первой партии».

— И Москва?! — быстро спросил Гитас.

Иволгин засмеялся.

— Ох, гад! Ох, падло! За отправку продался! Нас заложил!

⁸ «Нищий в горах» (солд. жаргон) — так назывались сигареты «Памир», выдаваемые солдатам на табачное довольствие.

Теперь водку холодную жрет и с бабами спит, про подвиги свои рассказывает, а мы здесь через него загибаемся. Ну скотина! Своих же продать?!

— Не забывай, Гитас — между нами. А говорю потому, что Веткина жалко. Сбереги его, Гитас. Пусть над ним перестанут издеваться!

— Хорошо, товарищ старший лейтенант,— задумчиво произнес тот.— Все сделаю. Веткин вновь будет человеком.

— Ну, смотри. Надеюсь на тебя.— Иволгин пожал Рушманису руку и зашагал было домой, но потом, вспомнив что-то, обернулся,— а на войну⁹ пойдём. Обязательно пойдём, Гитас.

С того вечера прошло несколько дней. Однажды Иволгина кто-то окликнул.

— Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант! Иволгин оглянулся — к нему бежал улыбающийся Веткин.

— Товарищ старший лейтенант, спасибо Вам большое,— задыхаясь начал он, вытирая мокрый лоб,— спасибо Вам. За все, все спасибо. Не я заложник-то. Все ребята об этом говорят!

— А кто?

— Не знаю,— пожал плечами Веткин,— но все говорят, что не я. Спасибо Вам.

— Не за что.

— Нет, нет. Спасибо,— сиял Веткин,— а в горы меня с собой возьмете?

— Возьму. Когда дело стоящее будет.

— А когда?

— Когда будет, тогда и возьму.

Веткин снова заулыбался. Улыбнулся и Иволгин.

— Видишь, как все прекрасно. Выяснилось, что ты не виновен, а у меня дочка родилась. Понимаешь, дочка! Скоро в отпуск поеду.

— Да ну!— Веткин даже зажмурился от счастья.— Поздравляю Вас! От всего сердца поздравляю!

— Спасибо. Так что теперь нам, брат, помирать никак нельзя. Ждут нас дома! Еще как ждут! Умирать не собираешься?

— Нет,— замотал головой Веткин. Да так, что, казалось, панамы вот-вот слетит на землю.— Ни в жисть!

— Ну, то-то же. И запомни — никогда не трусь. С разумом действуй. Погибает первым тот, кто постоянно о смерти думает или же кто вообще ни о чем не думает. Так что береги себя. Понял?

Себя же Иволгин уберечь не смог. Через три дня отдельную разведывательную роту бросили на реализацию разведанных в Черные Горы.

Иволгина, шедшего по тропе первым, «дúхи» расстреляли из ДШК¹⁰. Да так, что когда его привезли в бригаду, завернутого в специальную блестящую пленку для убитых, трудно было в этом обезображенном, разорванном пулями теле угадать прежнего сильного и красивого Иволгина.

⁹ «Война» (солд. жаргон)— так назывались любые боевые действия, любой выход из ППД для выполнения боевой задачи.

¹⁰ ДШК — советский крупнокалиберный пулемет, снятый с производства в СССР и выпускающийся в Китае. Поставляется оппозиционерам китадцами.

В 1989 году в списке кандидатов на соискание Ленинской премии была фамилия великого русского поэта Анны Ахматовой.

Ленинскую премию Ахматовой?!
Что ей желтый кругляшок в гробу...
Ильича соратники лохматою
лапой исковеркали судьбу.
Вот она стоит окаменелая,
царственно замкнув усталый слух,—
не ушла от нас с Россией белою:
с красной испила всю горечь мук.
И блудницей звали, и монахиней;
изрыгал громá державный гнев...
От родных осин ей — до Монако ли?—
если брошен в клетку мальчик Лев.
Если трижды будучи повенчанной
с воином, ученым и жрецом,
бесприютною скиталась женщиной,
отвердев до белизны лицом.
От родных осин ей — до Парижа ли?—
если сумасшедшей липы цвет
кружится над теми, кто не выжили
в ледяной купели жутких лет.
Ленинскую премию Ахматовой?!—
если памятника даже нет
ей и тем, кто очередь разматывал
вдоль лубянок СССР чуть свет.
От родных осин — до Таормины ли?—
лавр чужой согрел сугроб чела...
Осю Осипа¹ судьбина все же минула,
рыжему билет счастливый вынула.
(... чудны, Господи, твои дела...)
До чего, держава, ты кощунственна!
То вершишь расправы без суда,
то даруешь мертвым так прочувственно
милость без ума и без труда...

1989 г.

¹ Речь идет о судьбах Осипа Манделъштама и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.

С ПИСАТЕЛЕМ АНАТОЛИЕМ АНАНЬЕВЫМ БЕСЕДУЕТ ЖУРНАЛИСТ ЮРИЙ ЗАЙНАШЕВ

Уж слишком много приходится русским воевать в XX столетии. Родившийся в 1925-м Анатолий Андреевич Ананьев провоевал от Курска до Вены, от России до Германии, с сорок третьего до сорок пятого (а какие ему годы шли — сами видите), и воевал он пушками «Прощай, Родина!», теми, что бьют прямой наводкой. А последняя по счету атака отбита была в восемьдесят девятом — памятен нам тот шквал, что поднялся справа после повести «Все течет» Гроссмана в ананьевском «Октябре» в июньской книжке. Та крамольная повесть, а до того Терцезы «Прогулки с Пушкиным» едва-едва не стоили Анатолию Андреевичу журнала, ведóмого им уже семнадцать лет.

— Ю. З. Главный ярлык, что на вас, Анатолий Андреевич, тшится навесить, называется «русофобия», то есть неприязнь к русским и России. Пожалуй, достоинство этого словца в его размытости, неотчетливости. Что можно сегодня счесть русским народом? Каков его характер? В чем его будущность? В июне восемьдесят девятого в своей правдинской статье «Смотреть людям в глаза!» вы заметили, что нынешний русский народ — это крестьянство, те, кто в деревне, и те, кто недавно ее покинул. Вы писали буквально?

— А. А. Вероятно, было несколько неуклюже сказано. Народ — это, разумеется, все, в том числе и интеллигенция, и партруководители. Однако, употребляя слово «народ» в узком смысле, я имел в виду, что основа, ядро общества находится в деревне. В городе существуют слои рабочих, интеллигентов со своим образом жизни, стилем, своими локальными традициями, так же как и до революции существовали прослойки мастеровых, сельских учителей, купечества также со своими обычаями и укладом. Но можем ли мы сказать, что жизнь нации покоится, зиждется на укладе мастеровых? Не можем. Язык, нравственность, семья, инициатива, предприимчивость — в селе. Именно оттуда исходят все нити. И поэтому сегодня в первую очередь требуется восстановить крестьянский ген. Если нам это удастся, то пускай тогда хоть 95 процентов населения живет в городах, пусть, скажем, якут живет в Ленинграде или в Нью-Йорке, говорит на русском или английском языке, но он будет знать, что есть Отечество, есть почва, основа, которая сохранит уклад, язык и обычаи. Тогда, полагаю, исчезнут или заметно уменьшатся национальные междоусобицы.

— Ю. З. Вы убеждены, что этот крестьянский ген, весь народ не изменился в корне за семьдесят лет наваждения?

— А. А. Да, даже за семьдесят лет варварского отношения к человеку, в том числе к крестьянину, ген не истреблен, не вытравлен. И множество людей, уже многолетне проживающих в городе, буквально тоскуют по земле. Это дети раскулаченных, это те, кто потерял отца в войну и кого матери просто выпихивали из колхозов, чтобы дать образование. Они тоскуют. Я — человек деревенский, бывший агроном, я тоже тоскую. Видимо, я и писать стал только потому, что никак не мог найти удовлетворения в колхозе. Ведь председатели — это князьки, секретари райкомов — царьки, пикнуть не дают, за любое непослушание — партбилет на стол, а это значит, что ты — вычеркнутый из жизни человек. Все держалось на страхе. И, тем не менее, ген остался прежним.

— Ю. З. Следовательно, «гомо советикус» — выдумка советологов? Что же, на ваш взгляд, побудило Николая Бердяева писать, что «в стихии большевистской революции... появились совершенно новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе, появился антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоей неопределенности очертаний прежних русских лиц? С людьми и народами происходят удивительные метаморфозы»? (Из книги «Самопознание».) Что ввело Бердяева в заблуждение?

— А. А. Думаю, Бердяев написал то, что имел право написать, то, с чем он столкнулся в годы революции. Но вот у Достоевского написано совсем иначе: в характере русского человека лежит созерцательность. Мужик может сидеть на опушке леса или у ручья и созерцать, наблюдать, как бежит вода, как шумят деревья (и мы нередко испытываем такое). Он может созерцать так день, месяц. Год. Век! А потом берет топор и идет крушить барские усадьбы. И Достоевский, знаток русской души, имел право так написать.

По моим же наблюдениям, по моему собственному характеру я заключаю, что мы — далеко не созерцатели и таковыми не были. Ведь известны: и новгородское вече, и вольница, и Болотников, казаки, стрельцы... Очевидно, созерцательность, а также озлобленность, о которой пишет Бердяев, — это части характера. Я убежден, что русский человек незлобив, и главное он не умеет четко постоять за себя. Эта мысль подтверждается историческими примерами. Славянские племена некогда населяли берега Дуная, а по некоторым версиям, на Дунай они пришли чуть ли не с Пиренейского полуострова. Когда воцарялись жестокие режимы (Римская империя и позже), иные народы выдерживали и оставались, а славяне уходили, бежали на север, дошли до Днепра и дальше — до Соловецких островов и Колы. Я накладываю эту парадигму, как сетку, на сегодняшний день. Новгородские, смоленские, исконные наши земли разорены, миллионы гектаров пахоты, когда-то очищенной, раскорчеванной нашими предками, теперь — мертвая зона, «неперспективные деревни». И борьбы нет. Одни смиренно подставляют спину, а другие уходят, покидают обжитое, набиваются в города, но большей частью, поглядите, русские люди — по окраинам нашей державы. (По пословице: прощай, матушка-Русь, я к теплу потянусь.) Вот таков, кажется, народный нрав, однако... Однако при иных, чрезвычайных обстоятель-

ствах с нами происходит некий толчок, взрыв. Скажем, во время войны, в сорок первом, когда шла эвакуация заводов, когда требовалось немедленно выпускать танки и пушки. Представьте себе: Урал, на голом заснеженном поле разворачивается завод и спустя три месяца, часто еще без крыши, начинает выдавать танки. Что это? Это наши россияне. Значит, заложено в нашем темпераменте и нечто более глубокое. Об этом глубоко писал Лев Толстой. В «Войне и мире» принято обращать внимание на Каратаева как на «подлинного русского». (Хотя, по-моему, Платон Каратаев — это пародия на тогдашнее русофильство, к слову, в романе есть и пародия на западничество.) Толстой описывает Богучарово, имение, которое старый князь передает сыну Андрею, описывает и богучаровских мужиков: «...в жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников.» В этом особом народе (глубинка, далеко от больших) время от времени, через десятилетия и столетия, внезапно подымалась какая-то волна, что-то их будоражило, заставляло собираться, грузиться и уезжать в сторону молочных рек и кисельных берегов. Они болели, гибли, попадали на каторгу, единицы, не найдя ничего, возвращались, начинали новую жизнь, обживались. «Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой-то новой силы, умеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно».

Толстой не раскрывает загадку, он лишь показывает, что неведомые, подспудные силы порою бросают русских на такие поступки, на какие нормальный человек был бы не способен. А если этих людей на что-то направить? То они в силах смести всё и вся, как это и случилось в революцию.

Ю. З. Быть может, вам будет интересно узнать, что думала по сему поводу государыня Екатерина Вторая. Вот выдержка из ее «интервью» Фонвизину для журнала «Собеседник», год 1783-й:

«В о п р о с: В чем состоит наш национальный характер?»

О т в е т. В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от Творца человеку данных».

А. А. Ведь Екатерина была не только литератором, но и монархом и потому в народе искала именно послушание, черту, исходящую от православной церкви, от проповеди смирения и безответности.

Ю. З. Но вот другой фонвизинский вопрос: «Как истребить два противные и оба вреднейшие предрассудки: первый, будто бы у нас все дурно, а в чужих краях все хорошо; второй, будто в чужих краях все дурно, а у нас все хорошо?»

Екатерина отвечала: «Временем и знанием».

А. А. Александр Первый вступил на престол как «западник», как царь-реформатор, желая сблизить Россию и Запад культурно и экономически. Но любой подобный процесс воспринимается современниками еще и в деталях. Когда Александр открыл рубежи, предоставил иностранным купцам льготы и те прибыли, навезли свой товар, наше купечество, промышленники стали прогорать. Возникло целое движение не только против торговли с иностранцами, но и вообще против западничества. И, на мой взгляд, обстоятельства смерти Александра Павловича до конца не выяснены.

А сменивший его Николай Павлович не только разогнал декабристов и другие прозападные общества, но и в угоду ретроградным, весьма могучим силам страны повелел расшорить колею нашей железной дороги, дабы все и всё на границе тормозилось, перегружалось, замедлялось. Что существует до сих пор.

Вот такова наша история-маятник: то пружину сжимает, то выбрасывает, причем выбрасывает весьма болезненно. Сталин поставил «железный занавес», стену, отгородив нас от Европы, сжал пружину. Теперь занавес убран — что выйдет?

Сам я считаю, что нашему обществу ныне, как никогда, нужны западные идеи, идеи, проверенные жизнью. Недавно я был в Португалии, и там, на корриде, встретился с человеком, по виду крестьянином. Спросил (через переводчика):

— Ну, как вы тут живете, при капитализме?

Крестьянин замялся:

— Как я живу? Имею дом, семью, землю, коров, машины...

Я перебиваю:

— Как живете именно при капитализме?

Тот снова пожал плечами:

— Не понимаю, о чем вы говорите.

И я догадался, что он знать не знает о том, что живет «там, где правит капитал». А мы — знаем, что живем при социализме, даже гордимся — при развитом, идем к коммунизму. Вам не кажется это странным? Мне кажется.

Там люди живут, наслаждаются жизнью, работой, проявляют себя, не боятся труда, передают детям наследство. Мы же не в состоянии ничего оставить своим детям: квартиры у нас пока казенные, а чтобы наследовать автомобиль, надо уплатить половину его стоимости. Ради чего мы живем? Ради детей. Что мы им оставим? Ничегошеньки. Каждое поколение входит в жизнь босиком. Что они могут принести? Какую нравственность, какие ценности? Никаких. И оттого все подьезды исписаны, автомашины исцарапаны. А у нас пока что отвергают саму мысль о собственности, пугают капитализмом, взлетом цен, безработицей, аморальностью...

Впрочем, общество вечно стремится к совершенству, и вечно будут находиться люди, мыслители, которые опережают свое время на шаг или на полшага, либо, напротив, отступают назад. Консерваторы всегда будут сопутствовать первооткрывателям, ибо без консерватизма не может быть движения: нередко нужно останавливаться, оглядываться: а что мы теряем, а надо ли рисковать?

Нельзя также утверждать, что ретрограды хотят «только себе». Их можно понять. Я, например, тоже за восстановление крестьянского уклада жизни, но, оговорюсь, речь идет не о лаптях, платочках и соломенных крышах, а о возрождении хозяйского, любовного отношения к земле, о добрых семейных отношениях. Эти ценности притягательны, и не случайны поэтому идеи о каких-то «заповедниках русской жизни», где бы люди жили и хранили свой уклад по «Домострою», составленному протоиереем Сильвестром еще при Иоанне Грозном. Однако нам нельзя позволить себе такие «заповедники» во времена, когда совершены революционные открытия, когда на свете есть Япония. И чтобы не пришлось потом догонять и

перегонять Африку, мы обязаны сейчас шагать в ногу с прогрессом, учиться, перенимать. Видели бы вы канадскую или финскую ферму! Ферма — это тот же сельский уклад, но плюс техника; взамен лошадки — трактор «Форд» с радиотелефоном и кондиционером.

Ю. З. Значит, не следует истреблять сверхпатриотизм и суперзападничество, они неистребимы?

А. А. Время показало, что всякая борьба ни к чему не ведет. Я вообще далек от борьбы, не надо хватать друг друга за горло, итак уже пролито столько крови. Притом, что во время борьбы всегда побеждает ложь, она агрессивнее.

Итак, необходимо дать возможность развиваться обоим направлениям, дать людям выбор: какое предпочтительнее? Ведь ни у кого нет истины в последней инстанции, да и жизнь движется непрерывно, и то, что сегодня уместно и удачно, завтра устаревает.

Поэтому чистое западничество и чистый консерватизм никогда не будут приемлемы. Проекты (проекты) неосуществимые, непроходимые отомрут сами собой.

Ю. З. Вы давеча говорили о взрыве, о толчке, который единственный может поднять в народе активность и жизнелюбие. Следовательно, нынешние постепенные, плавные преобразования ведут в тупик? Что же послужит таким толчком сегодня?

А. А. Под взрывом я не имею в виду гражданскую войну или иное насилие, не дай Бог. Взрыв может быть, например, таким: отдать землю. Резко, решительно, немедленно отдать. Тяжело, трудно, сложно? Отдать! Не брать налогов в первые годы, пусть еще раз закупить хлеб за границей, но зато позволить хозяевам-фермерам встать на ноги. Если колхозы нежизнеспособны, почему мы за них держимся? Попробуем ферму западного толка. Ну назовем ее по-русски крестьянским двором или хутором, как предлагал Столыпин. Суть не в том.

Ю. З. Вы согласны с мнением, гласящим, что обильный приток иностранных слов, особенно англицизмов, подчас загрязняет нашу речь?

А. А. Прежде я тоже держался такого шаблонного опасения: мол, газеты и телевизор засоряют язык. Но когда мы в редакции стали получать горы писем, «народную публицистику», были приятно изумлены, что русский язык уцелел, что не журналисты, не писатели, не профессиональные перья — просто люди пишут красиво и богато. Я даже держу несколько писем в качестве образцов.

Не сохранилось, увы, другое — понятия, смысл некоторых слов, например, «крестьянин» — размыто, а привилось ужасное, полное пренебрежения «колхозник». Размыты слова: «любовь», «романтика», «духовность». Зато наполнилось «комиссар». Итак, исковеркан газетный, «советский» язык, народная же речь осталась чистой и свободной.

Ю. З. Анатолий Андреевич, у вас есть любимый девиз? Изречение?

А. А. Я не хочу никаких шаблонов, изречений, руководящих на всю жизнь. Жизнь включает, вбирает в себя все: и движение, и реакции, и прошлое, и настоящее. А потому для меня святыми являются два слова: **Жизнь и Правда.**

И века — противоречивый нрав
 И противоположные стремленья:
 Он — костолом,
 И он же — костоправ,
 Не обещая, впрочем, исцеленья!
 Порывом разрушенья увлечен,
 Он выкорчевал лучшее, что было,
 А нам оставил —
 Разве что уныло
 Теперь скорбеть, что бездуховен он
 И что согласно выводу такому
 На протяжении лет его
 И дней
 Страшной бывало —
 Не было тусклей,
 И трудно предпочесть одно другому.
 Но каждый перед всеми виноват,
 И все мы
 Перед каждым виноваты
 В том, что на милость веку
 Всё подряд
 Сдавали — без отпора и расплаты,
 Что в олицетворениях его,
 В гримасах
 Человеческой личины
 Всего охотней видим
 Не причины
 Творящегося
 И не существо,
 Что, зная ложь и понимая вздорность,
 Заполняющие наши дни,
 Свое потворство
 И свою покорность
 Оправдываем тем, что искони
 Быть гласом вопиющего в пустыне —
 Небезопасно
 Да и ни к чему,
 Что век, состарившись, уходит ныне,
 Прощая всем,
 Кто не простит ему.

ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАНИН

Родился в 1911 году в Москве, в семье адвоката. Предки его со стороны отца были стрельцами, мать — из старинного дворянского рода Опряниных. По окончании техникума в 17 лет (в вуз его как лишенца не приняли), он работал на цементном заводе в Подольске. Параллельно заочно окончил МИХМ, защитил диплом инженера-механика, а затем и аспирантуру. Перед защитой диссертации в 1940 году его арестовали по доносу одного друга, инженера Клементьева, с которым он свободно делился мыслями в коридоре своей коммунальной квартиры в Девятинском переулке. Особое совещание осудило его по статье 58. К пятилетнему «детскому» сроку в лагере добавили еще 10 лет, на этот раз якобы за попытку вооруженного восстания, и отправили в ссылку навечно в Кустанай, где Панин пробыл до 1956 года. Всего 16 лет тюрем, лагерей, ссылки: Лубянка, Лефортово, Вятлаг, Воркутлаг, лагерь смерти Спасск, каторжный лагерь в Экибастузе... В Вятлаге он заболел неизлечимым в тех условиях пеллагрическим поносом. На сороковой день случилось чудо: Бог услышал его жаркую молитву и спас от неминуемой смерти. С тех пор дальнейшую жизнь посвятил он исполнению обета, данного Богу, — «постоять за выполнение Его святой воли и тем самым помочь чем-то обманутым» — простым труженикам...

На относительно благополучной «шарашке», тюрьме под Москвой, использующей труд ученых (описанной Солженицыным в «Круге первом»), он продолжал работать над философской системой, в основу которой положил понятие густоты как первоосновы всех явлений вселенной. Универсальный характер густоты и открытый им в 1950 году закон движения вещей позволили Панину нарисовать убедительную картину вселенной, созданной Творцом, в его христианской философской Теории густот.

Чтобы иметь возможность осуществить задуманные работы, в 1972 году Димитрий Панин с женой эмигрировали на Запад. По просьбе друзей в Италии он пишет первую книгу своих лагерных воспоминаний «Записки Сологодина». Для Панина, как для христианина, Бог есть любовь. «На этом и держится мир», — объясняет он. Книга, изданная за рубежом на русском, английском, французском языках, в конце минувшего, 1990 г., вышла наконец-то в России в Издательском предприятии «Обновление» под названием «Лубянка — Экибастуз».

В 1972 году на Западе была опубликована работа Панина «Как провести революцию в умах». Он взывал к правдивой информации с помощью радио миллионов «микробратств» и был убежден в том, что в СССР начнется забастовочное движение.

Димитрий Михайлович Панин умер внезапно в расцвете творческих сил в 1987 году в Париже. До конца своих дней он оставался настоящим рыцарем без страха и упрека, посвятившим себя служению Богу и Прекрасной Даме, коей была для него Россия. «После него остались книги... а также многочисленные рукописи, — сказал писатель Владимир Максимов. — Наш долг — сделать все это достоянием читателей, и в первую очередь отечественных читателей... Его творчество является нашим общенациональным достоянием, и пусть само время определит значимость его философских и религиозных воззрений».

ПУГАЛО ВЯТЛАГА

По окончании следствия создалось впечатление, что чекисты решили со мной разделаться. У них, конечно, не оставалось никаких сомнений относительно моих мнений и настроений: было ясно, что я непримирим. Поэтому, не надеясь на смертный приговор,— их стряпня была слишком бездарна,— они решили прикончить меня в стенах изолятора — лагерной тюрьмы. Я думаю, что это предположение правильно, так как именно меня держали все одиннадцать месяцев с уголовниками, причем с самой страшной их частью,— с убийцами, которых сразу же после ареста кидали в мою камеру. За это время через нее прошли самые отвратительные уркаганы — лагерные бандиты. Много было всяких встреч и тяжелых столкновений. Однажды даже в камеру втолкнули двоих, когда они еще были покрыты кровью своих жертв.

Но все это бледнеет по сравнению с Лом-Лопатой. Это был совершенно легендарный преступник. В его формуляре было записано, что он не отвечает за свои действия, и это давало ему неограниченную возможность делать все, что он хочет. Правда, каждый раз за новое убийство он получал новые десять лет, которые всегда начинались с момента его последнего преступления, и в общем он все время находился в лагере со своим изначальным десятилетним сроком. В лагерной тюрьме он не задерживался, так как состав преступления был всегда налицо, и для окончания следствия достаточно было одного-единственного протокола. В то время Лом, будучи «сухой», то есть нарушителем воровского закона, счел для себя более удобным перезимовать в изоляторе: из-за перевеса «воров» на лагпункте он боялся за свою жизнь. С этой целью он убил какого-то заключенного, на этот раз не так явно, как обычно, и благодаря этому смог тянуть следствие, требуя психиатрической экспертизы. После первого медицинского заключения Лом-Лопату водворили в мою маленькую камеру, предназначенную для нескольких человек. Довольно долго мы лежали с ним только вдвоем на верхних нарах, где виден хоть кусочек неба и чуть больше воздуха, чем на нижних, представляющих подобие темного мешка.

С виду в нем ничего особенно зверского не было. В детстве я встречал таких ломовиков. У него было широкое твердо очерченное лицо с плотно сжатыми губами. Сытый, он мог вполне нормально разговаривать, слушать, задавать вопросы. Когда был голоден, в нем просыпались звериные качества. Видимо, на это и была ставка: чекисты рассчитывали, что мы обязательно с ним столкнемся, и не ошиблись.

В лагере он всегда жил за счет других. Политические были в то время худыми, истощенными, он же пришел в изолятор в «справной форме», в почти нормальном весе. Поэтому первые недели, хотя паек был убийственным, он не испытывал еще мук голода. Мне пришлось с ним коротать время. Я слушал о его похождениях, побеге, о жутких лагерях на Печоре в 37—38-х годах. Это там производили расстрелы конструкторов за невыполнение норм, нарочно прекращали кипятить воду, вследствие чего эсков, вынужденных пить болотную жижу, начинала косить чудовищная дизентерия. Он напевал блатные песни, и в памяти застряло: «Черные, как уголь, тучи летят над головой...» Я пересказывал ему чаще всего О'Генри, чтобы не остаться в долгу. Надо сказать, что он воспринимал эти новеллы достаточно осмысленно, смеялся, где надо, и даже понимал концовки. Его никак нельзя было считать каким-то умственно отупелым существом, он был на уровне людей преступного мира и обладал соответствующим опытом.

Так, без стычек прошел почти месяц. Затем, не подписав протокола окончания следствия, он потребовал новой экспертизы. «Органы» считали блатных социально близкими, доступными перевоспитанию, и постоянно шли им на уступки. Вот его и отправили на четвертый лагпункт, в одну из так называемых «психобольниц», где он обедал настоящих сумасшедших, то есть отнимал у них еду, обыгрывал их, обманывал и через месяца полтора — два, отъевшись, вернулся опять в мою маленькую камеру.

По окончании следствия мы, двадцать восемь однодельцев, стали числиться за «Особым Совещанием НКВД» и абсолютной власти над нами у местных следователей уже не было. Слабость чекистов всегда во взаимном подсиживании, в боязни друг друга. Во время следствия они могут дать указание санчасти не вмешиваться и держать арестованного на общем пайке, при этом никто и не пикнет. Следователь может также посадить в карцер на триста граммов хлеба на определенное число суток, и тюрьма точно выполнит его письменное распоряжение. Но когда следствие окончено, устного распоряжения не давать такому-то больничного пайка уже недостаточно. Начальник санчасти, опасаясь очередной склоки, не хочет рисковать, предпочитает загородиться бумажкой, то есть иметь про запас произвольное распоряжение третьего отдела, а следователь, в свою очередь, боится дать письменное распоряжение.

Вот в силу таких причин в числе остальных сильно истощенных больничных паек был получен и мною. Он отличался от общего лишними ста пятьюдесятью граммами хлеба, кусочком сахара и ошметком требухи или селедки. Голодную фантазию Лом-Лопаты различие паек крайне раздражало, и он начал ко мне приставать, предлагая играть с ним в карты. Я вообще их не признаю, а с ним играть было бы самоубийством. Блатные играют с фраерами только краплеными картами, то есть я наверняка отдавал бы ему свою пайку. Я всегда категорически отказывался от такого рода предложений, поступил так и на этот раз.

КАКИМ ОБРАЗОМ ЛОМ-ЛОПАТЕ НЕ УДАЛОСЬ ВЫКОЛОТЬ МНЕ ГЛАЗА

Когда наши отношения начали портиться, а голод тем временем совершал свою разрушительную работу, в нашу камеру бросили трех бандитов, которые что-то натворили на лагпункте. До этого мы с Ломом лежали на верхних нарах, каждый в своем углу. Когда появились бандиты, я собрал пожитки и полез вниз. Общего у меня с ними ничего не было, а на нарах и четвертым еле поместиться. Поэтому я не стал дожидаться приглашения спуститься, а сделал это сам. Через какой-то час раздались крики, ругань, и Лом-Лопата кубарем полетел на пол. Дело в том, что бандиты были «воры в законе», а Лом-Лопата — «сухой». Между ворами и «сухами» идет непрерывная война; в любом случае возникает ожесточенная драка. Вот они и решили сбросить его с нар, поскольку, как «сука», он не имел права находиться в их непосредственной близости. Смотрю — свешивается какая-то голова и кивает, манит, объясняет, что я должен подняться. Предложение было слишком настойчивым. Я не считал возможным упираться, ибо силы были почти на исходе и трудно было сопротивляться. Да это были и не те события, которые, как мне казалось, непосредственно могли повлиять на жизнь, поэтому там, где было можно, я уступал. То, что я оказался наверху, в их обществе, страшно подействовало на Лома и породило злобу. Он, старый, заслуженный уркаган, находился внизу на темных нарах, его исключили из компании, а я, фраер, был наверху! Я понял по его повадкам, по некоторым словам и замечаниям, что его отношение ко мне резко изменилось. Я стал для него гораздо большим врагом, чем воры, которые его сбросили.

Обход и первая кормежка начинались часов в шесть утра. Я сидел в изоляторе уже месяцев девять, и эта минута была для меня разделенной. Все к ней тоже готовились, ждали ее с нетерпением. Поэтому у обычно слезал с нар и прогуливался: делал три шага в одну сторону, три шага в другую, так как больше места не было. Как-то, в один из этих дней, я чувствовал себя особенно слабым, присел на нижние нары и безучастно ждал. За несколько дней перед этим у нас перегорела лампочка, которая освещала камеру и одновременно отбрасывала свет в коридор. Внизу была полная темнота, наверху чуточку посветлей: туда проникали какие-то блики из коридора. Лом-Лопата, который обычно сидел неподвижно, начал вдруг ходить и несколько раз, приближаясь почти вплотную ко мне, останавливался. Я не обращал на него никакого внимания.

Началась проверка. Обычно дверь приоткрывалась не полностью, надзиратель просовывал голову и пересчитывал заключенных. И на этот раз он проделал то же самое. Вдруг Лом, как сорвавшаяся пружина, бросился на надзирателя. В деревянную палочку для припиливания довесочков хлеба к пайке он сумел заправить длинную, толстую швейную иглу, которой шивают мешки из дерюги, и, вооружившись ею, в каком-то совершенно зверином, безумном порыве — ведь в какие-то моменты он все же был невменяем — метнул в надзирателя заготовленную для меня лютую месть. Направленная в

глаз надзирателя игла попала в переносицу. Он отпрянул, закричал. Три бандита соскочили, схватили Лом-Лопату, начали сильно лупить, затем его увели в карцер. Совершенно ясно, что меня спасла лишь темнота. Потухшей лампочке обязан я тем, что не стал слепым или одноглазым.

Лома вернули довольно быстро. Дикое ожесточение и ненависть этого страшного убийцы вылились по какой-то странности на меня, а не на трех бандитов, которые его избili, помогая надзору обезоружить. Благодаря каким-то сдвигам в психике его болезненное воображение изобретало врагов на ходу, и я оказался таким смертельным противником. Бандитов скоро осудили, потому что они во всем сознались, все подписывали, стремясь вернуться на лагпункт и продолжать опять свою жизнь за счет других заключенных.

ПРАВ ЛИ БЫЛ ХОМА БРУТ, КОГДА ОЧЕРЧИВАЛ ОКОЛО СЕБЯ КРУГ?

Мы остались один на один. Тут уже началось нечто страшное. Присутствие бандитов сдерживало Лома. Когда же они ушли, он почувствовал свободу и решил, что настало время со мной окончательно разделаться. Он называл меня презрительно «анженер», и с этой поры все чаще и чаще повторял: «Ну, анженер, из Кайских лесов тебе живым не выйти». На что я неизменно отвечал: «Уверен, что выйду», и старался не поддерживать разговора. Спасало меня, видимо, то, что я не обнаруживал никакого страха, когда, казалось, надо трепетать. Ведь я был в одной клетке со зверем. Но мое положение было даже хуже. У зверя только инстинкты, а у него вдобавок — человеческая хитрость, изворотливость и большая физическая сила. В эту пору он, конечно, был гораздо крепче меня. Шел десятый месяц моего пребывания в лагерной тюрьме военного времени, слабость все увеличивалась, а он только приехал с «побывки», где подкрепился за счет больных. Я не боялся Лом-Лопаты. Позднее, осмысливая происшедшее, я понял, что дух человека всегда бесстрашен, дрожит лишь плоть; а так как мое тело было очень истощено, то центр восприятия переместился в сферу духовную. Сидя в обычной позе на нарах, я незаметно молился, и это было главное. Нормальный сытый человек меньше подвержен повышенной духовности, чем голодный псих, который в возбужденном состоянии воспринимает многое гораздо более остро, цепляется за то, что обычно оставляет без внимания. Я все время видел, что ему хочется что-то мне сделать: например, ударить, вырвать хлеб, — но он не может. У Гоголя в «Вие» один из бурсаков очерчивает около себя круг на земле, чтобы отогнать нечистую силу. Я не замыкал себя ни в каком кольце, не думал тогда об этом, но, видимо, мои молитвы и не обижающее никого существование создавали какую-то астральную броню. Иначе я не могу объяснить, почему этот зверь, столько раз обнажавший свое нутро, ни разу меня не ударил, не столкнул с нар, хотя кипел дикой злостью. Столь странный, непонятный феномен я объясняю только возникновением астральной брони вокруг себя.

ЕДИНОБОРСТВО С ЛОМ-ЛОПАТОЙ

Но вот произошло событие, когда я сам прорвал эту преграду. Лом изнывал от голода: дополнительных источников питания не было, у меня он тоже пайку отнять не мог, да я и не отдал бы ее ни за что.

И вот он надумал старую блатную выходку, в которой мне была уготована определенная роль, а я от нее, к сожалению, отказался. Блатные вечно проносят гвозди, иголки, кусочки ножа — «мойки». Лом тоже принес гвоздь и камень, скорее всего из бани, хотя после случая с иглой его особенно обыскивали, и, казалось, у него не могли оказаться режущие и колющие предметы. Затем он выкинул довольно картинный номер, который производит впечатление на новичков, а у старых тюремщиков обычно вызывает усмешку. Он взял ржавый гвоздь, проткнул мошонку и таким образом прибил себя к нарам. При этом я по его указке должен был выкрикивать диким голосом какое-то блатное слово, означавшее это действие. Я же уперся и полностью выключился из игры, хотя мне ничего не стоило выполнить его требование, и позже я порицал себя, что его не поддержал. В моем состоянии о многом тогда думалось лениво и плохо. Подождав несколько минут, он сам начал орать. Прибежала охрана, надзор, из него вырвали гвоздь и ограничились тем, что надавали по шее, так как преступлением это не считается, нарушение тоже не большое, в порядке нравов преступного мира. Воры «расписывались», «замастырявали» себе болезни, проделывали вышеописанную выходку и многое другое, чтобы уйти от серьезной опасности.

Лом совершил это лишь для того, чтобы получить добавку баланды. Обычно ее отдавали привилегированным заключенным в других камерах и за все одиннадцать месяцев нам принесли впервые.

И тут я совершил вторую, на этот раз большую ошибку. Раз уж я не принял никакого участия в этой комедии, кровавой и в общем довольно мерзкой, то не должен был иметь отношения к остаткам пищи, которых он добился своими силами. Но я так наглодался, что, когда загредел замок и полусшепотом было сказано: «Добавка! Давайте миски!», первый ринулся с нар и получил ее. Тогда он совершенно справедливо заорал, что все принадлежит ему. Но я не слушал, жадно съел всю миску на этот раз довольно густой жижи. И тут Лом пришел в неистовство. Главное, он почувствовал свою правоту и заявил, что, если я полезу еще раз, он меня прикончит. Я ему ответил на его же жаргоне, что никаких особых прав он не имеет: я здесь уже десять месяцев, он же сидит только полтора, и поэтому оснований у меня больше, чем у него. Тем не менее внутренне я все-таки знал, что совершаю что-то ошибочное. На следующий день история повторилась. Я получил одну тарелку, а он три, но не это имело значение. Важно, что я произвел какое-то принципиальное нарушение. И позже я понял, что сам нарушил астральную броню неправильными действиями, покусившись на что-то, не мною завоеванное.

Я жадно начал есть, поглядывая в его сторону. Он же расставил свои миски — запас их всегда находился в камере, так как

она была рассчитана на восемь человек, — и с видом, не предвещающим ничего хорошего, поднял вверх свой правый кулак мясника и молотобойца, медленно опуская его по мере своего приближения. Мускулы у него были еще совсем крепкие, невысохшие; ручища громадная, до колена. И этой отведенной дугой, представляющей натянутую машину огромной силы с кулаком на конце, он направил прямо мне в живот, удара которого было бы достаточно, чтобы просто разорвать мне кишки, ставшие за десять месяцев очень тонкими. Я даже не стал выставлять вперед руки, а, наоборот, прижал их к туловищу. Все равно мне с ним было не справиться. Но я напрягся, и в момент, когда увидел, что дуга стала двигаться, молниеносно пригнулся. Поэтому удар, к счастью, пришелся не по кишкам, а по ребрам, по груди и слегка по тому месту, которое называют «под ложечкой». Поскольку он был сильный и страшно чувствительный, у меня пресеклось дыхание. Я наклонился, ловя воздух. Это спасло меня от смерти, так как инстинктивно я оказался в положении, когда он не мог поразить второй раз то же место. Резонанс от этой страшной контузии остался надолго в организме. Он, конечно, мог меня прикончить, нанести еще десяток ударов, скажем, по почкам, и отбить их. Но спасло также то, что он был псих, и, удовлетворив свое первое желание, набросился на еду и стал обжираться.

Я тоже съел все, немного отдышавшись. Как ни странно, когда он меня спросил: «Ну, что, полезешь еще?» Я ответил: «Обязательно!» После страшной боли я почувствовал себя опять духовно окрепшим. То была компенсация за совершенный мною духовный проступок. Броня снова замкнулась, и я стал неуязвим. Моя непреклонность, отсутствие страха и колебаний одержали победу над его психикой; он был раздавлен неспособностью подчинить меня своим требованиям.

Наступил следующий день. Он все время крутился, вертелся внизу, ибо наверх не перебрался из какого-то принципа: «Раз уж сбросили, сам больше не лезу». На это его примитивного мышления хватало. В общем, он был вне себя и метался, как зверь в клетке. Я же видел, что побеждаю его своей непреклонностью, и мне было даже интересно. И опять на третий день я не отказался от добавки. До этого мы весь день пререкались, ругались, я опять доказывал, что имею прав больше, чем он. Играла здесь роль еще и чисто животная сторона голода. Но, с другой стороны, я считал, что не могу ему уступить, и на этот раз одержал окончательную духовную победу. Я видел, как он весь корежится, говорит сам себе вполголоса: «Ну, какой я блатарь, если не могу задавить этого фраера... Я гад, падло». К счастью, через три дня яблоко раздора исчезло, но для него совместное пребывание со мной в одной камере стало невозможным. Его убивало чувство какого-то унижения, поражения, сознание, что он не может меня добить. И вот дня через два он прямо сказал: «Иди к начальнику и проси, чтобы меня или тебя взяли отсюда. Не заявишь, я тебя сделаю». Я понял, что это не пустая угроза, так как его «самоедство» переходило в иступление. Во время утренней проверки я потребовал начальника тюрьмы. И при раздаче обеда еще раз сказал, что, если тот меня не примет, мои товарищи будут знать, что чекисты

сознательно организуют убийство. Через полчаса или час меня вызвали. Начальником тюрьмы был парень, который пришел недавно с фронта, на руке его оставались еще следы ранения. Я ему объяснил положение вещей: «Вы меня держите с чудовищем. Всем известно, что он невменяемый, что у него тем самым право на убийство. Так вот, отношения у меня с ним дошли до точки: сегодня оно произойдет. Я сопротивляться не могу. Он — здоровенный мужик, которого вы сохраняете для расправы с другими заключенными, несмотря на десятки его преступлений. Имейте в виду: вы — молодой человек, вам есть, что терять, мне же терять нечего. Если до вечерней проверки меня или его не переведут, я буду кричать на всю тюрьму, что лично вы совершаете убийство».

Может, угроза была и не страшной, но приятного тоже было мало. Начальник тюрьмы знает, что за ним следят надзиратели. Так или иначе, это возымело свое действие, и вечером раздалась команда: «Лом-Лопата, с вещами!» Я понял, что остался жив.

Лом-Лопату перевели в камеру, организованную как раз в это время из бытовиков и уголовников, которые уже прошли следствие, а теперь дожидались суда и отправки на лагпункты. Их выводили на работу, на мотопилу. Лом-Лопата в первый же день совершенно без всяких оснований и причин топором отсек одному заключенному затылок. Видимо, нужна была разрядка, и раз не удалось на мне, он проделал это на совершенно другом человеке, первом встречном, подвернувшемся ему под руку. Ему опять дали десять лет, но это не имело для него никакого значения. Таких людей власти тогда не расстреливали, они были удобны для расправ с контриками.

Полжизни провел как беглец я, в дороге,
А скоро ведь надо явиться с повинной.
Полжизни готовился жить, а в итоге
Не знаю, что делать с другой половиной.

Другой половины осталось немного:
Последняя четверть, а может — восьмая,
Рубеж, за которым вторая дорога —
Широкая, плоская лента прямая.

Не ездят машины по этой пустынной
Дороге, на первую так не похожей;
По ней никогда не пройдет ни единый
Случайный попутчик и встречный прохожий.

Лишь мне одному предназначена эта
Запретная для посторонних дорога;
Бетонными плитами плотно одета,
Она поднимается в гору полого.
Да только не могут истлевшие ноги
Шагать, как бывало по прежней дороге.
Мне сделать за вечность не более шагу —
Шагну, спотыкнусь и навечно прилягу.

Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде
Просить на обратный билет Христа ради,
И я ковылял вдоль арыков постылых,
Дурак-дураком, по жарнице треклятой,
Не смея вернуться в мой номер, не в силах
Смириться с моей невозвратной утратой.
А позже, под вечер, в гостинице людной,
Замкнувшись на ключ, побродяжка приبلудный,
Впотьмах задыхался от срама и горя,
Как Иов на гноище с Господом споря,
И навзничь лежал нагишом на постели,
Обугленный болью, отравленный желчью,
Молчком нагнетая в распластанном теле
Страданье людское и ненависть волчью,—

В ту ночь мне открылась в видении сонном
Дорога, одетая плотным бетоном,
Дорога до Бога, дорога до Рая,
Дорога без срока,
Дорога вторая.

ГОРБАЧЕВ И ЕЛЬЦИН: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

БЕСЕДА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР СЕРГЕЯ ЮШЕНКОВА И ПОЛИТОЛОГА НИКОЛАЯ ШУЛЬГИНА

С. Ю. Долгое время у нас в стране и за рубежом перестройку связывали с одним именем: Михаил Горбачев. Собственно говоря, все изменения действительно происходили благодаря если не инициативе, то, по крайней мере, невмешательству, своего рода «центристской» позиции Генерального секретаря ЦК КПСС.

В стране, только-только выходящей из рамок жесткой тоталитарной системы, по-другому, наверное, и не могло быть, другой путь был чреват дестабилизацией, огромными по масштабам социальными конфликтами — вплоть до гражданской войны.

Разумеется, кроме М. С. Горбачева из высшего эшелона власти мы знали имена А. Н. Яковлева, Э. А. Шеварднадзе, Б. Н. Ельцина как самых надежных и верных сподвижников инициатора революционных перемен. Но вдруг на третьем году перестройки, на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС в «команде» Горбачева произошел своего рода «бунт». Весь мир узнал о первом за долгие годы открытом несогласии кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, руководителя самой крупной городской партийной организации — московской Бориса Николаевича Ельцина с высшим партийным руководством.

В то время ходили самые разные слухи. Распространялись различные варианты выступления Бориса Николаевича. Как выяснилось позже, все они были далеки от истины, но, тем не менее, сыграли важную роль в разрушении стереотипа святости, неприкосновенности не то что для критики, но даже для обсуждения высшего органа власти.

Затем последовало маловыразительное выступление Ельцина на пленуме Московского горкома партии. С трудом верилось, что этот человек мог осмелиться на бунт. Хотя даже тогда, когда мало кто знал о его подлинном состоянии, это не очень повлияло на репутацию «теневого» лидера перестройки. То, что после таких потрясений Б. Н. Ельцин не исчез с политической арены, оставшись членом ЦК КПСС, и, мало того, занял пост министра, как это ни странно, вселило уверенность если не в необратимость перестройки, то, по крайней мере, в ее, несмотря ни на что, поступательный ход.

Б. Н. Ельцин из волны «неформального» движения вновь всплывает на XIX партконференции. Его выступление носит четкий концептуальный характер. На трибуне мы опять увидели борца. Контрвыступление Е. К. Лигачева с его ставшим знаменитым заклина-

нием «Борис, ты не прав!» подняло рейтинг Б. Н. Ельцина на недосягаемую для других политических лидеров (исключая М. С. Горбачева) высоту.

Используя политические страсти, кооператоры пустили в продажу значки с изображением Ельцина и надписями: «Борис, ты прав!», «Борись, Борис!», «Егор, ты не прав!», «Народ не объегорить, народ не подкузьмить!». Фактически только представители «Памяти» носили значки с благообразным портретом Е. К. Лигачева и надписями противоположного значения, типа: «Егор, ты прав!», «Борис, ты не прав!». Я помню, меня тогда заинтересовало, как это так, ведь в вину Ельцину ставилась его «крамольная» встреча с лидерами «Памяти», а здесь вдруг — такое неприятие. На мои удивленные вопросы агитаторы «Памяти» дали «исчерпывающий» ответ, суть которого выражалась в многозначительном встречном вопросе: «А вы что, не знаете, как звучит имя его жены?»

Я не знал, а они знали — Наина, «типично» еврейское имя. Понимая, что для «Памяти» национальность является самым главным аргументом, я спросил: но почему именно Лигачев противопоставляется Ельцину, а не, скажем, Горбачев? Ответы удивительно просты: у Горбачева зять еврей, а Лигачев человек проверенный чуть ли не до седьмого колена. Я сегодня вспоминаю об этом для того, чтобы развеять возникший миф — он имел хождение и на Западе — о якобы сочувственном отношении Ельцина к «Памяти».

Чего-чего, а мифов и всевозможных домыслов о Ельцине существовало много, чему, кстати, в немалой степени способствовала и официальная пропаганда.

Я не буду рассказывать ни о выборах в народные депутаты СССР, ни о поездке в США, ни о купании в холодной реке — обо всем этом исчерпывающе написано в книге «Исповедь на заданную тему». Я скажу лишь о том, что, несмотря на сопротивление М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцин все же был избран Председателем Верховного Совета РСФСР. И сегодня все прекрасно понимают, что от взаимоотношений Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС и беспартийного Председателя Верховного Совета РСФСР зависит не только судьба России и Союза ССР, но и всего мира. И это не преувеличение, это реальность наших дней.

Сейчас многие задаются вопросом, как Б. Н. Ельцину удалось, вопреки всем препятствиям, вновь подняться на политический Олимп? В чем секрет «феномена» Ельцина? Вы, Николай Николаевич, писали о М. С. Горбачеве в «Веке XX и мире». Что, на ваш взгляд, объединяет и что разделяет этих людей?

Н. Ш. И Горбачев, и Ельцин — радикальные реформаторы. Пусть понятие «радикализм» сейчас кажется не очень применимым к Горбачеву. Но объективно это так. С точки зрения вечности это так. Рыба не очень замечает саму воду, в которой она живет. Так и мы скорее обращаем внимание на детали, чем на главный принцип. «Охранительные» речи Горбачева — лишь детали. А главный принцип его деятельности — **радикальная реформа**. Я бы даже назвал Перестройку — **Великой Реформой**. Мы живем в Эру Великой Реформы, — возможно, так назовут наше время в истории.

Но и Горбачев, и Ельцин не столько личности, сколько поли-

тические символы. И тот, и другой воплощают некий социальный миф. Общественное сознание связывает происходящее с конкретным человеком, вознесенным на вершину пирамиды. И он даже в какой-то степени и объективно перестает быть лишь конкретной личностью. Он действительно сливается с мифом о себе. И вот уже нет мифа, уже лишь реальность...

Если же понимать Перестройку в узком смысле, как первую стадию Великой Реформы, то это — либерализация «реального социализма». Горбачев — лидер либерализации, лидер Перестройки. Ельцин — лидер «постперестроечного» периода. С Ельциным во главе Россия реализует, очевидно, новую, несоциалистическую модель социального бытия. Ельцин — это символ практического перехода к данной модели. Ее основа — приоритет частной инициативы. Поэтому я назвал бы данную модель приватизмом. Обычно говорится, что дело не в названии. Но название, имя задает изначальную ориентацию подсознания. Здесь же — импульс активности духа.

Горбачев — это альфа Перестройки, ее исток и начало. Ельцин — омега Перестройки, ее завершение, переход к новому строю. В то же время Ельцин для России — это альфа нового строя. И Горбачев, и Ельцин — фигуры переходные. Горбачев выражает переход к новому строю в общественном сознании. Ельцин — символ перехода к новому строю в сфере материального бытия. Но я не удивлюсь, если большая доля славы потом достанется Горбачеву... Как бы мы его сейчас ни ругали — и за «ограниченность», и за «вынужденность», и за «попытки сидеть на двух стульях», — история к нему будет добрее. Золотой памятник ему еще поставят, с фигурой Горбачева на постаменте, с фигурой Ельцина — на барельефе... Или наоборот?..

С. Ю. Типично российский размах — сразу о памятниках. Будет ли их кому ставить?

Но в любом случае и Горбачев, и Ельцин — бесспорные политические лидеры, по-разному ставшие ими.

Очень часто приходилось слышать, что секрет «феномена» Ельцина в популизме. Каким только уничижительным эпитетом этот популизм не назывался. В какой-то мере Ельцин действительно популист, но отнюдь не в уничижительном смысле. Он выражает чаяния народа, ждущего хотя бы каких-то сдвигов в сторону улучшения жизни. Программа «500 дней» ориентирована именно на этот фактор ожидания. Но не слишком ли она эксплуатирует (сугубо, вероятно, русскую) мечту о чуде, точнее даже, веру в чудо? Может быть, не нужно было так детально расписывать?

Н. Ш. Мне кажется, что мечту о чуде не нужно сбрасывать со счетов и подвергать ее жесткой критике. Это мечта о чем-то необычном...

С. Ю. Да, но это и есть эксплуатация мечты.

Н. Ш. Да, эксплуатация мечты. Но если вместо слова «эксплуатация», вызывающего негативные эмоции, употреблять слово, скажем, «использование», то в таком случае — почему и нет? Ведь энтузиазм, надежда — это то, что пробуждает духовную энергию, которая может перейти в реальное действие. Жить без надежды народ

не может. Другое дело, на что делается ставка. Если программа принимается заведомо утопичная, то результатом этого может быть лишь последующее разочарование. Вопрос в том, действительно ли это нечто утопичное? Мне кажется, что в программе есть доля утопичности. Само ее название «500 дней». Почему 500? Какая-то магия круглых чисел. Хотя 500 дней — это полтора года, которых достаточно для того, чтобы почувствовать реальные перемены. Да, я думаю, 500 дней реалистичны, но только в сфере политической, и то при наличии воли парламентариев и избирателей.

Что касается экономики... Японии, например, потребовалось не менее двадцати лет лишь для того, чтобы начать свое быстрое движение вперед. А России — полтора года?! Конечно, поверить в это трудно. Хотя, возможно, какое-то реальное основание за этим и стоит. Впрочем, как и за всякой утопией... Но утопия не есть невозможность. Просто она может быть недостаточно реальной, чтобы на нее следовало делать ставку.

С. Ю. Но в нашей истории, хотя и в иной обстановке, что-то подобное «500 дням» реально воплощалось. Вспомним нэп. За очень короткий период тогда удалось достичь желаемого результата. Тем более, что «500 дней» — это главным образом программа создания условий для нормальной экономической жизни.

Н. Ш. В этом смысле за 500 дней и даже меньше можно создать законодательные предпосылки к последующему прогрессу. Если хочешь иметь хорошие законы — прими их. Но как будет происходить взаимодействие политических структур России и сохраняющихся политических структур Центра? Поскольку достигнуто скоординированное решение о переходе к рыночной экономике, я думаю, это хорошее основание для того, чтобы Центр перестал тормозить прогресс России настолько, насколько вообще будет Центр пользоваться хоть какой-то долей власти в ближайший период, в чем я в полной мере не уверен.

Я всегда был осторожен в прогнозах относительно сроков. Но в данном случае я сочувствую программе «500 дней». Думаю, что определенные основания для успеха есть.

С. Ю. Но вернемся к Ельцину и Горбачеву. На мой взгляд, успех Горбачева базировался на резком контрасте с прежними руководителями нашей страны. По сравнению с Л. И. Брежневым и К. У. Черненко он просто гений. Мы увидели вместо манекена живого мыслящего человека. Даже ошибки в произношении воспринимались как свидетельство того, что это действительно живой человек. А в чем секрет успеха Ельцина?

Н. Ш. Успех Горбачева, на мой взгляд, сродни в чем-то успеху джентльмена среди плебеев. Так сказать, успех политического джентльмена среди фигур, которые могли бы быть отнесены к политическому плебсу. Я имею в виду облик правителей, которые были до него и некоторых из тех, кто начинал вместе с ним. И, конечно, увидев джентльмена с изысканными манерами, обещающего неслыханные прежде свободы (все это надо понимать весьма относительно), мы и имели соответствующий всплеск популярности.

С. Ю. То есть это своеобразный эффект контраста.

Н. Ш. Совершенно верно, именно контраста человека с «достаточ-

но изысканными» политическими манерами на фоне людей не только без таковых, но и без явных признаков какого бы то ни было интеллекта. Что касается популярности Ельцина, то это успех человека искреннего, говорящего правду, человека, в котором нет, как мне кажется, своеобразного трансформатора, преобразующего мысли для себя в речи для других, человека, который в клубе джентльменов говорит то, что он думает, и то, что думают люди вне этого клуба. Естественно, это будет нравиться. Успех Ельцина — это как бы контраст второго порядка. Сначала мы в лице Горбачева получили джентльмена. Теперь мы в лице Ельцина получаем человека, говорящего правду тем же языком, которым говорит улица, народ, и дающего ту же оценку ситуации, которую дает улица.

Я думаю, наша потребность в чем-то достаточно интеллектуальном, изысканном в Горбачеве была относительно исчерпана. При всех возможных придириках к нему надо признать, что он нам все же это дал. Но для общественного сознания этого оказалось недостаточно, чтобы сама по себе такая фигура доминировала.

Ельцин удовлетворяет потребность в искренности, поэтому стал больше доминировать он. Я думаю, этот процесс в конечном счете приведет к установлению своеобразного равновесия. Политик, который будет кумиром после Горбачева и после Ельцина, должен, наверное, представлять некий своеобразный синтез того и другого.

С. Ю. Секрет успеха человека любой профессии в его способности совершенствоваться. Горбачев, кстати, обладает такой способностью. Вспомним, как он начинал. Частые встречи с народом. Он и говорил чрезвычайно просто и почти всегда угадывал, чего от него ждут. В этом смысле он популист не в меньшей степени, чем Ельцин. Затем мы наблюдаем как бы отрыв Горбачева от земной основы — он воспарил над действительностью. Думаю, не случайно Указы Президента, по сути дела, невыполнимы, ибо они игнорируют объективные реальности. Казалось, что Горбачев исчерпал себя. Особенно удивляла его позиция против избрания Б. Н. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР. А на съезде российских коммунистов мы увидели какого-то растерянного человека. Начало XXVIII съезда КПСС ничего хорошего ему тоже не обещало. Но он сумел взять себя в руки, а заодно и большую часть съезда. Аппарат, на мой взгляд, должен поставить ему памятник. Он, по сути, сумел спасти партийных функционеров от полного краха. И смотрите, что получается теперь: Горбачев находит общий язык с беспартийным Ельциным, так и не сумев до этого консолидироваться с членом ЦК КПСС Ельциным. То есть Горбачев достаточно четко продемонстрировал свою готовность учиться и делать соответствующие выводы.

Ельцин тоже способный ученик, но его способности иного плана. Он учится независимо от того положения, которое занимает. В то время как Горбачев наиболее ярко проявляется именно тогда, когда начинает существовать угроза его личной власти, его авторитету.

Н. Ш. В определенном смысле это действительно так. Мне как-то приходилось писать, что Горбачев — это идеальный центрист. Я имею в виду то, что он воплощает некое среднее арифметическое

происходящих социальных процессов. Но центризм может быть «левым» и «правым». У Горбачева он сдвинулся по сравнению с начальным периодом его правления скорее «вправо» (в нашем извращенном, советском понимании). Я бы сказал так: если в начале своей деятельности на посту Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачев выражал **Принцип Динамики**, то в последнее время он стал делать явный уклон к **Принципу Стабильности**.

Мне кажется, что Горбачев и Ельцин сейчас хорошо дополняют друг друга. Горбачев — это идея стабильности, которая может изменяться, но ровно настолько, насколько необходимо, в противном случае мы имели бы разгул социальной нестабильности.

С. Ю. Но с этим можно поспорить. Именно при Горбачеве начались дестабилизирующие процессы. Именно он вызвал их к жизни.

Н. Ш. Очень хорошо. Но это **стабильность в рамках динамики**. Горбачев, если брать в целом, так же как и Ельцин выражает социальный динамизм. Но если у Горбачева в динамизме есть сила устойчивости, то у Ельцина это динамизм в чистом виде. Отсюда спор Горбачева и Ельцина — это спор стабильности и динамизма в самом процессе нашего социально-политического развития, это спор в рамках прогресса. Как принцип динамизма, так и принцип стабильности существуют в рамках самого прогресса.

С. Ю. Но почему на первом Съезде народных депутатов РСФСР Горбачев так яростно противился тому, чтобы Ельцина избрали Председателем Верховного Совета России? Он даже был согласен на то, чтобы главой российского парламента стал И. К. Полозков, который является явным противником курса Горбачева. Ведь если кто и является реальным союзником Горбачева, то это прежде всего Ельцин. Но, слава Богу, Горбачев сумел преодолеть свою неприязнь и сделал первые шаги навстречу Ельцину, и мы видим, что в результате такого движения появляется уверенность в действительной стабильности, стабильности именно в рамках динамики. Но чем все же объяснить такое острое неприятие Ельцина со стороны Горбачева?

Н. Ш. Что касается Полозкова, я думаю, он сам по себе достаточно непопулярен, чтобы его можно было опасаться даже при том, что он политический противник. Что же касается Ельцина, то, даже будучи стратегическим союзником Горбачева, он в то же время является союзником **независимым** — независимым в достаточной степени, чтобы его опасаться. В том числе и как явного политического конкурента. Так что основание для неприятия было. Я думаю, что с именем Ельцина до того, как он пришел к власти, в России было связано некое поле неопределенности. Неизвестно, что можно было ожидать от него. Кстати, уже после его избрания, глядя на его конкретное политическое поведение, многие политические противники изменили свою точку зрения. И стали если не союзниками, то, во всяком случае, людьми, настроенными достаточно лояльно. Тем более **Принцип Стабильности**, выражаемый Горбачевым, конечно, не мог примириться с возможностью того, что Ельцин как выразитель **Принципа Динамики** придет к власти. Для поверхностного уровня — это борьба личностей. На уровне глубинном — борьба фундаментальных принципов и идей, которые эти личности воплощают. Приход Ельцина

к власти ставит под вопрос сам статус Центра как такового. И кстати, вот та проблема, которая сегодня становится все более и более актуальной, ибо чем является Горбачев как лидер Центра при сильном Ельцине в качестве лидера России? Ну, в лучшем случае человеком, который должен более или менее лояльно принимать то, что делается на республиканском уровне. То есть политический процесс выходит из-под контроля Центра. Центр перестает быть источником, носителем инициативы преобразований.

С. Ю. Центр, вероятно, просто перемещается, а не перестает быть Центром.

Н. Ш. Я имею в виду Центр, так сказать, с большой буквы, а не союзные структуры. Мы имеем полицентризм. Ну, конечно, приход к власти Ельцина в России — это конец Центра в том смысле, в каком его выражал Горбачев.

С. Ю. На одном только противопоставлении принципов, исповедуемых двумя политическими лидерами, можно, конечно, объяснить секреты популярности... Но все-таки есть некоторое «но»...

Н. Ш. Мне кажется, что многие плюсы Ельцина это, помимо всего прочего, и результат сознательного отталкивания от минусов Горбачева. Ельцин строит свой политический имидж, явно противопоставляя его недостаткам политического имиджа Горбачева, тем недостаткам, которые зафиксированы и проговорены в общественном сознании. Таким способом Ельцину можно отчетливо проявить себя в качестве альтернативного лидера. Я бы даже сказал так: Ельцин — это Горбачев в идеале, тот Горбачев, которого общественность, народ желали бы видеть с самого начала. В этом смысле Ельцин внутренне от Горбачева зависит, ибо Горбачев ему дает нечто вроде стартовой площадки для взлета.

Кстати, взлет популярности Ельцина начался как раз с конфликта с Горбачевым, то есть с отталкивания. Я думаю, что Ельцин внутренне нуждается в Горбачеве. Впрочем, точно так же, как Горбачев в Ельцине. Ведь, глядя на Ельцина, как на свое своеобразное идеальное воплощение, Горбачев имеет возможность эти недостатки исправлять. Хотя это не столько личные недостатки, сколько недостатки воплощенной им идеи — ее естественной ограниченности. Но всякая идея имеет границы, ничего странного здесь нет. Горбачев — Ельцин — это процесс взаимного совершенствования и Принципа Стабильности, и Принципа Динамики, которые они в качестве политических лидеров воплощают.

С. Ю. У определенных кругов общественности бытует мнение, что Ельцин менее интеллигентен, чем Горбачев. Скорее всего, это мнение от недостатка информации. Но вот вышла книга Ельцина «Исповедь на заданную тему». Она, по-моему, опровергает подобное мнение. Впрочем, само понятие интеллигентности у нас деформировано.

Н. Ш. Мне кажется, что интеллигентность многими понимается как мягкость, что подразумевает отсутствие воли для принятия политического решения. Политик должен быть достаточно твердым при всем демократизме, чтобы принимаемые им решения уважались структурами, призванными воплощать их в жизнь. Поэтому для меня так называемая «интеллигентность» Ельцина не носит никакого

отрицательного оттенка. Я думаю, что это классический русский человек — решительный, твердый и вполне интеллектуальный для того, чтобы учиться на собственных и чужих недостатках. Успех политика — это успех его политической программы. И коль скоро его политическая программа пользуется успехом, очевидно, и в самом политике есть качества, заставляющие людей принять его. А раз он принят людьми, обвинять его в «неинтеллигентности» было бы достаточно опрометчиво.

С. Ю. Ельцин — диктатор и Ельцин — демократ. В общественном сознании бытует и тот, и другой образ. Кто он? Диктатор, прекрасно понимающий, что диктатором можно стать в настоящее время, только исповедуя демократические принципы? Или это демократ, сознающий, что для утверждения демократии в какой-то степени необходимы и качества руководителя диктаторского типа?

Н. Ш. Нельзя считать диктатором того, кто не возглавляет диктатуры. Ельцин символизирует переход русской национальной идеи от приверженности жесткому централизму к максимальному местному самоуправлению. Иначе говоря, переход от Идеи Господства к Идее Свободы. Поэтому в его личности можно найти оба начала. Они есть и в каждом из нас, и в стране в целом.

С. Ю. А что тогда символизирует Горбачев?

Н. Ш. Я думаю, что Горбачев — это символ величайшего мирного переворота XX века. Он принадлежит к типу политических деятелей, которые развязывают силы, могущие их смести. Но о лидерах нужно судить именно по тому, что сделано при них, а не по тому, что они сделали или не сделали сами. И еще. Горбачев, кроме всего прочего, играл и роль Заклинателя Змей. Он говорил с ними их языком. Он убеждал их не жалить. Он гипнотизировал их ритмами своих пространственных речей. Что же? Успех был полным. Змеи шипели, извивались, раскачивались в такт речам Генсека... И не жалили — уходили в отставку. Это ведь тоже чего-то стоит.

С. Ю. Союз между Горбачевым и Ельциным начинает складываться. Будет ли он долгим и прочным — от этого в конечном счете может зависеть наше будущее. Есть ли у вас на этот счет какой-либо прогноз?

Н. Ш. На мой взгляд, если этот союз просуществует долго, то будет союзом скорее политических принципов, чем политических личностей, так сказать, союзом оппонированных начал.

Прогнозы? Принцип стабильности в рамках динамического процесса не может обойтись без принципа динамизма, и наоборот. Поэтому Горбачев, Ельцин, кто-то иной на их месте, взявшись воплотить эти принципы, будут органически нуждаться друг в друге, нуждаться в сотрудничестве. Я думаю, у Горбачева есть все шансы быть Президентом в ближайшие несколько лет, если он будет правильно себя вести. И главное — если у него не сдадут нервы. У нас ведь удивительная страна. Того или иного политика можно из года в год, изо дня в день поливать грязью, склонять на все лады, а ему хоть бы что! Лишь уважать станут: смотри, мол, какой твердый, стойкий — не уходит...

С. Ю. По всей видимости, все так и может быть. Что касается Ельцина, пока судьба милостива к нему, как, впрочем, и к Горбачеву. Будет ли ее благосклонность устойчивой? Во всяком случае, большая часть из нас, я думаю, заинтересована в этом.

1

О доктор Фауст, я любила Вас,
и ради Вас пошла в аспирантуру,
латынь осилить даже поклялась,
но вместо Вас — какой-то Вагнер хмурый
меня приветил у научных врат
пространной речью из одних цитат.

Я слушала его и час, и два,
в лицо его, в затылок поглядела,
все думала: «А где же голова?» —
но мерно предо мной звучало тело
без головы... И подивилась я,
сколь велики загадки бытия.

Такой — мне был не нужен проводник!
И от него я скрылась в дебрях книг.
Я там одна блуждала и дичала,
эпитеты свежая у ключа,
И Муза в ожидании скучала:
моя свирель была еще ничья...
О, доктор Фауст, я любила Вас!
Но вот однажды догадался кто-то
мне краски подарить... «Ну, что ж, на час —
решила я, — прерву свою работу!»
И прервала. На час, и два, и три...

2

.....
.....
.....
.....

3. (Продолжение)

Мне предлагали шестьдесят рублей,
солидно именуя их «полставки».
Конечно, без квартиры — с тем, чтоб я
за тридцать комнату снимала где-то

и лекции читала, между тем
(ну, скажем, курс поэзии — такой,
в котором не было бы Мандельштама).

Лоснящийся и сытый человек
мне говорил: «Мы все так начинали!
Не в комнатах — в бараках жили мы!»
На пальце у него горел рубин,
напоминая о кремлевских звездах,
и эта капелька давнишней крови
приковывала все мое вниманье.
Рассеянно я говорила: «Да...
Конечно... Я подумую... Быть может...»

...Дождь моросил... И к Волге я ушла.
Здесь, в городе чужом, — одна лишь Волга
родною мне была. «Уже ли ты,
о колыбель великого поэта,
мне не поможешь?» — спрашивала я. —
«Возьми меня к себе — хоть в бурлаки!»
Но Волга серая была пустынна.
Я села на скамейку... Долго я
на месяц — шестьдесят рублей делила,
все время неуклонно вычитая
(налоги... комната... и проездной...),
не помню, как — но помню, получилось
в итоге на день — ровно треть копейки.
«На т р е т ь копейки — что ж купить смогу?
Ну, разве пар от чьей-нибудь похлебки?
А впрочем... стоит что-нибудь и пар!»

И думала я вновь о Мандельштаме.
Мне виделось, как в хмурый майский день
Ахматова приехала к нему,
усталая — не только от дороги...
Он ужин для нее хотел добыть —
и ринулся к писателям-соседям.
И, наконец, победно возвратился,
держа в руке — яйцо... Одно яйцо.

Как? Это мне — сулили шестьдесят,
которых не было у Мандельштама?

Мне — шестьдесят, я спрашиваю? Мне?
А если вдруг на хлеб мне все же хватит —
тогда как хлеба не было у Блока?
Когда б не умер с голоду? Не смею

я той же смертью умереть, как Блок!
Так на кресте не смел апостол Петр
распятым быть Учителю подобно,
«В н и з головой распните!» — он молил.

«Мне — шестьдесят?!» — я со скамьи вскочила...

Лоснящийся и сытый человек
успел меня забыть, но вспомнил все же.
«Ах, Вы согласны?» Я сказала: «Нет!
Так непомерно много — мне одной?
Я разорять не смею государства!
Благодарю!

Я проживу — и т а к!
В наследство, знаете ль, досталась мне
от Бога — деревенька на Парнасе...»

1974—1975 гг.

Кирпичные приземистые постройки: казарма, столовая, учебный корпус. Строевой плац. Асфальтовые вылизанные дорожки, газоны, лужайки с невысокими подстриженными яблонями, кустами шиповника и аютиными глазками вдоль дорожек. За постройками — теплицы, свинарник, баня, котельная и четырехэтажная учебная башня. Все это обнесено высоким дощатым внахлест забором и напоминает пионерский лагерь. Только вместо пионеров — матросы в одинаковых синих беретах, мешковатых робах и тяжелых черных ботинках-прогарах, а вместо вожатых — зычные сержанты. Это школа, откуда нас через несколько месяцев выпустят младшими специалистами пожарной службы.

Мы сидим в спальном помещении на табуретках-баночках ровными, плотными рядами и смотрим программу «Время». Четыре ряда затылков и восемь рядов ушей. Сержант Тишкин, здоровенный шкаф (наверно, здесь специально таких оставляют для устрашения) ходит между рядами и бьет ключами на кожаном ремешке по выступающим коленям, локтям и ушам.

Рядом со мной — Арви, эстонец, студент художественного училища. В детстве мне показали ком гагачьего пуха величиной с голову. Его можно было спрятать в кулаке, но стоило разжать кулак, он снова распушался. Вот такая улыбка у Арви. За ним сидит ленинградец Юра Булавин, сутулый, в очках. Студент университета, физик. Ему тут тяжелее, чем многим. Он живет в другом мире. Смотрит в себя и не слышит команды. Он говорит, что для него тут самое скверное — невозможность побыть одному.

— У-у, вторчермет! Свет ушами загораживаешь! — сержант бьет ключами по уху Кадырова, моего соседа справа. Тот вжимает голову в плечи. Сержант веселится и поигрывает ключами. Маленький Кадыров затравленно смотрит снизу на сержанта и тоже скалит зубы.

Мы четверо — Арви, Кадыров, Булавин и я — новоприбывшие, поздний набор. Нам дали закончить кому первый, кому второй курс институтов и техникумов.

Я чувствую себя веткой, которую срезали с одного дерева и привили на другое, чужое. Привили грубо, примотали веревкой. Телевизор — единственный сосудик, через который в меня сочится сок.

Показывают Москву. Я толкаю Арви:

— Смотри, вот тут недалеко я живу!

Арви поворачивает ко мне лицо и улыбается своей гагачей улыбкой.

Булавин осторожно вытаскивает из-под робы письмо и пытается читать в темноте. Сержант выхватывает письмо и рвет в клочки.

— Вста-ать!— орет сержант.— Сесты! Встать! Сесты! «Духи» сопливые! Папуасы ядреные! Еще у кого письмо увижу — все будете до утра летать, камикадзе!

Вижу глаза Булавина. Такие глаза были у большой серой птицы поморника, когда мы с руководителем практики по зоологии обмеряли ее гнездо и кладку.

Программа «Время» заканчивается.

— Вста-ать! Строиться на вечернюю поверку!

По команде «Сорок пять секунд — отбой!» надо раздеться, сложить аккуратно одежду, чтобы все по линейке, вспрыгнуть на свою койку и нырнуть под одеяло. По команде «Приготовиться к отбою... Отбой!» надо затихнуть, как мышь в норе, чтобы не дай Бог, под тобой не скринула сетка. Но сетки скрипят от неловкого движения, от дыхания, и мы «летаем» каждый вечер.

Сержант прислушивается...

— Скрипим!— радостно кричит он.— Пять секунд — па-адем!

Мы, как горох с полки, сыплемся на пол, друг другу на головы, строимся.

— Упор лежаче! Р-раз! Два! Р-раз! Два!..

Мы отжимаемся. Олесенко шепчет:

— Ну, бля, пусть только попадет мне в руки рядовой, если я в живых останусь после учебки! Он у меня полетает!

— Р-раз! Два! Р-раз! Два! Отбой!

Мы впрыгиваем в койки. Сержант снова ходит вдоль баночек, на которых сложено наше обмундирование. Обнаружил непорядок. Отшвыривает баночку ногой.

— Сейчас будем учиться. Пять секунд... Па-адем!

Как во время драки не чувствуешь боли, так и тут не чувствуешь ни злости ни обиды, и только ласковая, как собачий язык, мысль: когда-нибудь это кончится...

Кончилось. Сержант ушел. Лежу под одеялом на правом боку и не шевелюсь. Все форточки открыты, но дышать нечем, как в переполненном спортзале в конце тренировки. Простыня мокрая от пота. Пятки и ладони горят.

Смотрю в окно. Еще не совсем стемнело. Видны часть нашего острова и Финский залив. Прямо из воды, довольно далеко от берега, торчат непонятного назначения кирпичные постройки. Над горизонтом сменяют друг друга сиреневые, фиолетовые размытые полосы, ленты. Удивительные облака на этом чертовом острове.

Некоторым тут нравится. «Старики» — так называют тех, кто прочился уже два месяца, — успели перенять командирские интонации. Даже упиваются ими. Почти не вспоминают дом. Разговоры о жратве, сигаретах, бабах.

Среди «стариков» есть элита — «слоны». Здешняя мафия. У них

клички: Гуталин, Карман, Клещ. Самый подлый — Клещ. В его обязанности входит раздавать почту. Он вскрывает письма и ворует рубли и трешки, которые матери вкладывают в конверты. Письма тоже вскрываются и содержимое делится со «слонами».

Я со «слонами» столкнулся вскоре после прибытия сюда. Это было на камбузе, куда нас назначили дежурным подразделением.

Чистили тупыми ножами гнилую картошку, и только Клещ бездельничал, грыз капусту и пытался накормить капустным листом кошку. Кошке не хочется капусты, она прижимает уши, приседает на все четыре лапы и пытается убежать. Клещ хватается за хвост, подволакивает к себе и бьет ладонью по затылку.

— Вот у нас дома кошка была! — треплется Клещ. — Все хавала, как человек! Хлеб кинешь — хавает! А эта, сука, капусту не жрет! Щас сожрешь! А не то — за ноги и об стенку! Мы кошек на гражданке ловили — и вот так. Чтобы мозги разлетелись. А еще лучше — бензинчиком облить и поджечь. Она бежит, орет, как истребитель подбитый... Однажды в сено, сволочь, забежала. Родичам пришлось за сено платить.

Я чистил картошку и копил злобу. Арви спокойно произнес со своим прибалтийским акцентом:

— Клещ, ты очень мноко кофоришь и мало рапотаешь. Ты что, лучше всех?

— А тебе что, немчура, больше всех надо? — тут же взывается Клещ. — Сиди тихо, фашист, и не мяукай!

— Слушай, ты! — не выдерживаю я. Подхожу к Клещу, беру его за грудки и встряхиваю.

— Ты че? Ты че? — верещит Клещ.

Десять человек с интересом следят за сценой.

Есть люди, которых хочешь оскорбить, но оскорбляешь сам себя. В последний момент мой кулак почему-то уходит в сторону от его лица. Так вода скатывается с жирной поверхности. Он тоже меня не бьет, только гадко как-то касается моего лица кулаком. Арви дергает меня сзади:

— Не лезь! Я сам разберусь!

Нас разнимает Савелий, деревенский парень, могучий, как трактор «Беларусь». Он сует между мной и Клещом свою громадную ладонь.

— Хватит тут сопли друг другу вытирать. Сразу видно, никогда не дрались, горожане.

— Ну, держись теперь, — обещает мне Клещ. — Завтра ты поплачешь.

Назавтра было воскресенье. До обеда — спортивные мероприятия. На стадионе ко мне подскочил Карман.

— Хоп-хоп! Лови скворца! — кричит он и принимается мутузить меня кулаками. Это игра, это тут обычный вид развлечения.

Я отвечаю ему тем же, и мы прыгаем друг возле друга в боксерских стойках. Неожиданно игра кончается, и я сгибаюсь пополам.

— Ты что, сдурел? — выдавливаю из себя.

— А что? А что? — подпрыгивает он.

— Мне еще детей охота иметь, — шучу я с надеждой, что он влепил мне нечаянно.

— Ладно, ладно, ничего,— говорит он, и мы снова прыгаем, размахивая кулаками.

Второй удар был еще сильнее. Скорчившись, удивленно смотрю на Кармана. Так, наверно, мышь с перебитым хребтом смотрит на кусочек сала, до которого не успела дотянуться.

— Теперь ясно, что к нашим не стоит приставать?

— Убью, сволочь,— шепчу я и с трудом выпрямляюсь.

Подошел Гуталин.

— Слушай, москвич, я вижу, ты чего-то не допрешь никак. Вы что, все такие тормознутые? Ну тогда пойдем за будку. Мы тебе все популярно объясним.

Они ведут меня за трансформаторную будку, мимо сержантов, которые, улюлюкая, режутся в волейбол на площадке.

За будкой собралось человек восемь «слонов».

— Ну че, бить тебя или как?— сомневается Гуталин.

— Бейте, только объясните сначала, чего вы нашли хорошего в этом Клеще? Он же подонок.

Гуталин мрачнеет и некоторое время думает.

— Сейчас объясню,— говорит он и бьет меня под дых.

Я переламываюсь, как вафля, и с минуту пытаюсь вдохнуть воздух. Потом догадываюсь, что его надо сначала выдохнуть.

— Ну и как?— спрашивает Гуталин — Понятно? Или еще объяснить? Мы это можем, за нами не заржавеет!

— Все, все,— говорю я.— Прекрасно вас понял.

— Рота! Приготовиться к подъему!— орет дневальный.

Отгибаю руками и ногами с боков края одеяла, как учили, чтобы по команде «Подъем» одновременно со всеми откинуть его на спинку койки. Набираю в грудь воздух.

— Пять секунд... Па-адем!

Делаю откидку и прыгаю вниз, на Арви.

Строимся в проходе, босые, в мятых трусах.

— Форма одежды на утренней физзарядке — трусы, ботинки!

Поиски ботинок. За пятнадцать минут до подъема дежурный должен принести их из сушилки и расставить у коек. К каждой паре привязан деревянный квадратик с фамилией, но дежурный, конечно, опять все перепутал. Мы бегаем, толкаемся, пытаюсь отличить среди трех десятков неотличимых пар свою.

Носки вчера успел постирать. Они еще не высохли под матрасом, зато хоть не украли. До чего же противно натягивать их на грязную ступню.

Бегом по коридору на улицу. В дверях туалета стоят двое дневальных и отбивают атаки тех, кто хочет туда войти: до зарядки не положено.

— Внимание на проходе!— это кто-то предупреждает о появлении начальства.

Арви не успевает затормозить и налетает на Тишкина. Тот, не меняя выражения лица — только нос у него дергается так, что резко прорисовываются крылья,— пихает Арви в грудь. Тот, трепыхаясь, летит по коридору и вминается в вешалку.

Строимся у дверей. Тишкин командует:

— Шагом... арш!

Небо бледное и насморочное. Моросит дождь. Облака нависли серой рифленой подошвой. Нахохлившиеся голуби сидят на крыше казармы. Над камбузом кружатся и кричат чайки. На самом горизонте облака светятся и напоминают многослойный бутерброд с ветчиной, яичницей, кремом и еще чем-то кондитерским.

— Сесть!— командует Тишкин.— Шагом... арш!

Опускаемся на корточки и ковыляем гусиным шагом.

— Р-равнение в шеренгах!— ревет Тишкин.— Что?! Кто-то меня плохо понимает? Ну, будем до завтрака ходить, лапчатые вы мои...

Ходим по кругу. Толкаю впереди ковыляющего Кадырова: чего отстает? Он наддает скорости и толкает переднего, просто из злости.

Бутерброд на востоке начинает размываться, рассыпаться на волокна. Снизу его подпирает мутное солнце. Тишкин командует:

— Пять минут вам помыться, побриться, бляхи напидарасить!

Бежим в роту к тумбочкам, хватаем лезвия, шлепаем пасту на щетку и — в туалет, чтобы успеть первым к умывальнику.

Не успел. Пристраиваюсь третьим, просовываю руку между голыми, скользкими телами, зачерпываю воду, брызгаю на лицо и торопливо скребу себя тупым лезвием.

Кадыров пытается пристроиться к персональному умывальнику Гуталина.

— Чего, ослеп, это мой умывальник!— орет тот.— А ну, схлынул отсюда!— он пихает Кадырова ладонью в лицо.

— А што? А што?— отмахивается Кадыров.

— Объяснить?— спрашивает Гуталин. Но Кадыров уже понял и отходит. Гуталин, не торопясь, разводит пену для бритья.

Одеваемся, заправляем койки.

— Это кто так заправляет?— Тишкин заворачивает край одеяла и читает нашивку:— Булавин... Ах, Булавин! Шаг вперед!

Булавин делает шаг вперед.

— Сейчас будем учиться, а вечером вы ему сами объясните, как надо заправлять койку,— говорит Тишкин и командует всем:

— Сорок секунд... Отбой!

Срываем с себя одежду, ныряем под одеяла. «Тормоз чертов Булавин,— думаю я.— Карась зачмыренный!»

— Па-адьем!

Снова вскакиваем, одеваемся, заправляем койки, строимся. Начинается утренний осмотр.

— Ну что, кактус,— Тишкин, улыбаясь, проводит ладонью по подбородку Кадырова.— Чурка небритая! Неси станок! Три секунды!

Кадыров бросается к тумбочке, приносит станок, протягивает Тишкину. Тот берет Кадырова левой рукой за ухо, как за дверную ручку, а правой начинает брить посуху, сдирая прыщи. Выступает кровь.

— Ладно, иди мойся,— разрешает сержант. Он заботливый.

Командует остальным:

— Головные уборы снять! Содержимое карманов к осмотру!

Я быстро пихаю два Иркиных и одно мамино письмо под робу и отгоняю их за спину, чтобы не топорщились. Выкладываю

в берет телефонную книжку, авторучку, бумажник. Тишкин ощупывает, облапывает каждого, проводит руками по спине. Вот вытаскивает письмо у Арви. Арви пытается что-то объяснить.

— Закрой рот, фашист!— Тишкин пихает Арви пальцем в грудь, рвет письмо и идет дальше.

— Ого, вот это телка!— достает у Олесенко из-под робы конверт и вынимает из него фотографию. Отшвыривает ногой баночку к койке, садится, закидывает ноги на другую баночку.— Ну, рассказывай, где такую отхватил! Чего потеешь? Все свои. Она тебе кто? Невеста? Ну, нашел! Да таких невест мы...

Чувствую, как у меня изнутри что-то давит на глаза и в висках начинает стучать. У меня в бумажнике Иркина фотография.

Подошел ко мне. Сладко глядя в глаза, проводит руками по моей груди, по бедрам.

— Смотри-ка, москвич, опять колбасу куда-то зашхерил!

Это шутка. Все смеются. Я делаю ягнячьи глаза и бугай идет ощупывать следующего. Пронесло.

Утренняя приборка территории. После дождя листья намертво прилипли к влажному асфальту. Осиновые еще ничего, метутся, они плотные и выпуклые, как блюдечки. А березовые приходится отдирать от асфальта руками. С запада опять наползают облака, похожие на маленькие песчаные дюны на мелководье.

Подходит Тишкин. Мы с Арви и Булавиным вытягиваемся и отдаем честь. Тишкин нагибается к клумбе, находит среди цветов бумажку от конфеты, оттягивает мне штаны, сует туда фантик и смотрит игриво.

— Ты меня понял?

— Так точно!— отвечаю я.

Он уходит. Арви говорит:

— Как вы думаете, если будет война, Тишкин закроет грудью амбразуру?

Мне смешно:

— Всю ночь думал?

— Тут не надо вообще ни о чем думать,— угрюмо говорит Булавин.— От этого только хуже. Я отключил свой мозг на два года. Вернусь из армии и включу.

— А будет что включать?— интересуется Арви.

— Строевой шаг по подразделениям делай... Р-раз!— мы поднимаем левую ногу на сорок сантиметров от асфальта, а ротный ходит и замеряет расстояние. Пока у всех не проверит, ногу опускать нельзя.

— Два! Р-раз!— опускаем левую, поднимаем правую и снова стоим. Послезавтра присяга и мы готовимся к строевому смотру.

— Р-рота! Шагом!.. Запе...вай!

...И тогда! Вода нам как земля!
И тогда! Нам экипаж — семья!

И тогда! Любой из нас не против
Хоть всю жизнь служить в военном флоте!..

— Вы что, не завтракали?— интересуется ротный.— Будем учиться. Еще раз запе...вай!

Мы орем изо всех сил. Песня сплачивает и раскрепощает. Когда мы поем, мы единый организм. Песня кончается, ритм остается. Р-раз! Р-раз! Мыслей нет! И не надо! Мы вколачиваем подошвы в асфальт.

Только Булавин вдруг впереди меня сбивается. Я наступаю ему на пятку — он суетливо подбирает ноги и сбивается еще больше. Его правый прогар стоптался и похож на раздавленного крокодилчика. Булавин постоянно стирает себе ногу. Почему-то всегда находятся люди, которые не могут быть как все. Строевой устав не дает ответа на вопрос, что делать с такими людьми. Может, то же, что с кошками, которые не едят капусты?

Строем подходим к учебному корпусу, бежим в класс и садимся за парты. Тишкин говорит:

— Дежурный, разлаживай тетради по партам. После занятия ложите их на край стола сами.

«Ложите» — так говорят все. Я тоже скоро начну так говорить. Приду из армии и скажу маме:

— Мне супа не надо ложить.

Дежурный раздаст тетради и учебники по пожарно-технической подготовке. Тишкин пишет на доске номера параграфов, которые нужно законспектировать и уходит, показав нам на прощание кулак. Я достаю из-под робы недописанное письмо, раскрываю учебник и пишу. Арви кладет голову на парту и через минуту начинает посапывать.

Дверь резко открывается и всовывается улыбающаяся физиономия Тишкина. Я не повел глазом и продолжаю писать: школьный навык пользования шпаргалками. Несколькo человек судорожно прячут листки в парту или учебник. К этим Тишкин подходит и протягивает свою лопатообразную ладонь.

— Почитаю на досуге,— и прячет письма в карман. Нежно берет за подбородок Арви.— У, ты моя лапочка! Что во сне видел?

Арви улыбается своей гагачей улыбкой. Пытается ее скомкать, но губы снова разъезжаются.

— Улыбаемся?— говорит Тишкин.— А ну, выходи к доске.

Арви выходит к доске.

— На четыре кости, быстро! Упор лежa принять! Восемьсот пятьдесят три раза отжаться! Ну! Р-раз! Два! Р-раз! Два!...

Арви отжимается.

— Встать!— говорит Тишкин.— Опять улыбаешься? У-у, какой ты... Сейчас не будешь улыбаться. Задницу кверху! Выше! Руки прямые! Ближе к ногам! Так стой!

Арви выгибается буквой «Л».

— Ну, чего пялитесь?— оборачивается к нам Тишкин.— Эйфелеву башню не видели? Сидите, конспектируйте.

Он садится на стул, кладет Арви ногу на крестец и вольно откидывается.

— Чего кряхтишь? Людям заниматься мешаешь!— удар ребром ладони по позвоночнику.— Встать!

Арви с трудом выпрямляется. Он красный, потный, будто из бани. Но — улыбается.

— А-а...— у Тишкина дергается нос.— Значит, мало?.. Упор лежа... Р-раз! Два!

Арви опускается на пол и продолжает отжиматься. С лица его капает пот. На полу перед лицом темное пятно. Тишкин сидит и смотрит. Он похож на паука, который впрыснул в муху желудочный сок и дожидается, пока муха переварится и он сможет ее высосать.

— Встать!

Арви, пошатываясь, выпрямляется, хлюпает носом. На лице — улыбка. Тишкин тяжело дышит, будто это он отжимался только что. И вдруг начинает смеяться:

— Ах ты, сволочь! Стойкий попался! Ладно, иди умывайся.

— На обед строиться! Бегом!

Со второго этажа бежим во двор.

— На трапе поднимайте ноги! По палубе не шаркайте! Стой, чайник, кто будет честь отдавать?— дневальный хватает Кадырова и бьет его ногой ниже спины.

Строимся перед столовой. Ждем. Наконец дежурный по смене командует:

— Смена, напра...ву! Головные уборы снять! Справа в колонну по одному на камбуз бегом... марш!

Изображаем бег и постепенно всасываемся в столовую.

На обед сегодня, судя по запаху, пшенка с мясом. Сидим за столами, ждем команды. Кто-то бубнит.

— Первая рота, встать! — орет Тишкин.— Сесты! Встать! Сесты! и т. д. Бачковые, встать! Раздать пищу! — первым протягивает миску бачковому: — Ложи побольше, не жадничай! — и забирает добрую половину бачка. Ковырнул, понюхал, поморщился.

Едим на скорость, заглываем, не жуя, положенные три куска хлеба, закидываем в себя, не ощущая вкуса, пшенку.

Я с ужасом смотрю на Булавина. Его лицо на глазах отекает, глаза превращаются в слезящиеся щелки. Он ловит мой взгляд и говорит виновато:

— У меня аллергия на пшенную кашу... Даже на запах...

Обед кончается, все выбегают на улицу. Булавин еле идет, дышит с хрипом.

— У-у, гад! Уродина!— говорит Карман и бьет его в бок кулаком.

— Жаба! Жаба!— радостно подпрыгивает с другой стороны Клещ и тоже норовит ударить.

— Кончайте!— говорю я.— Не видите, ему плохо, он упадет сейчас, вас же посадят.

Мне вспоминается сказка про Серую Звездочку, жабу, которую дети били за то, что она некрасивая. Эту сказку читала мне мама, ког-

да я был маленький. Мы залезали с ногами на диван, укутывались большим голубым платком и она мне читала, и я плакал от жалости.

Курилка — пятачок у забора, огороженный кустами акации. Синие скамейки широким квадратом, посередине — урна. Тут можно на время расслабиться. Кто-то стрижет ногти, кто-то пишет письмо, кто-то самозабвенно трет войлоком и пастой бляху на поясе. Огромный Савелий выдавливает угри у Кармана, положив его голову к себе на колени. Карман морщится и постанывает. Савелий серьезен и сосредоточен, как будто закручивает гайки у трактора. Все это напоминает ласки орангутангов в зоопарке. Разговоры о том, что отсюда нас начнут раскидывать в середине октября. Сорок семь человек кинут на Северный флот, четырнадцать — на Черноморский, десятерых — на Балтику, троих — в Польшу, остальных — на ТОФ, Тихий океан.

Рваные облака тащат за собой солнце. У забора стоит сосна со сломанной верхушкой. Она теперь не может расти вверх, ей нужно время, чтобы оправиться, чтобы выросли боковые ветки.

— Ну что, «духи», курим? — появляется вездесущий Тишкин. — Кто за то, чтобы бросить курить? Поднять руки! Кто там не поднял? Всем поднять! Выложить сигареты! — берет одну и закуривает. — Наш командный состав не курит и вы не должны. Что ты сказал, «дух»? Карась ядреный! — бьет Клеща в солнечное сплетение. Клещ верещит.

После очередного развода нас с Арви отправляют на хоздвор, чистить свинарник.

Мы ныряем в низкую дверь. После дневного света темно, только длинный проход освещен и в конце его виден треугольный движущийся силуэт. Он приближается и превращается в приземистого, неимоверно широкоплечего сержанта Шаварина. Про него говорят: «Справедливый. Без дела не бьет». На всякий случай напрягаю пресс: мало ли, вдруг засветит.

— Пошли за мной, — говорит Шаварин.

Запах свинарника не только не раздражает, но кажется куда приятнее запаха нового обмундирования. Стойла пустые — хрюшки нежатся в уличном загоне, в грязной луже. Шаварин дает нам по щетке с металлическим ворсом:

— Чтоб каждую досочку — добела! Чтоб к зиме им чисто было!

Я с остервенением скребу доски. Как хорошо! Никто не лезет в душу и можно думать о своем. Впрочем, я ни о чем не думаю, просто отдыхаю. В соседнем загоне копошится Арви.

Подходит сержант, разглядывает вычищенные загонны.

Смотри-ка, москвич, а ты не только колбасу жрать умеешь! Ладно, перекур!

Мы выходим на воздух и садимся втроем на доски. Шаварин предлагает сигареты. Я отказываюсь — не курю. Арви осторожно тянет руку к пачке.

— Чего боишься? — усмехается Шаварин.

— Я не боюсь, — говорит Арви.

— А чего морды кислые?

Мы молчим.

— Ничего не понимаете, — говорит он. — Вам крупно повезло — летом служите. Я, например, сюда зимой попал. У нас тогда половина свиней перемерзла. Им потом дополнительное отопление провели. А нам — хрен. В учебном корпусе вообще не топили. Сидишь в робе — шинелей брать не разрешалось — ни мыслей, ничего, только бы согреться. Мы дверь матами обили, так на них изморось в два пальца narосла. На зарядку выбегали по шинелям, и все равно вдохнуть нельзя. В горло будто лом засаживают. А перед самой присягой нас на стрельбы повели, на другой конец острова. В прогарах по тонкому носку. Мороз жуткий, и ветер с залива. Сержанты, офицеры — в валенках, в тулупах. Мы к ротному подошли: «Товарищ капитан, разрешите костер развести». А он: «Отставить, а то вспотеете». И смеется. На присягу ко мне мама с невестой приехали. Привели в гостиницу. Они вышли, я носки стал переодевать. Тут мама вошла, увидела, разрыдалась. У меня кожа с пальцев струпьями сходила. Я говорю: «Тише, а то Наташка услышит». Наташка вошла и тоже рыдала.

— А били вас? — спросил я.

— Меня-то? — повел могучими плечами Шаварин. — Ну, пробовали. Но я-то за себя постоять умел, а были такие... Колька у нас был такой, с деревни. Так вот его били. Каждый день, ботинками по ногам. Пять человек, земляки мои, из-под Харькова. А он молчал. Однажды заходит ко мне — я один в классе, боевой листок писал. Стоит и молчит. Вижу — что-то не то. Спрашиваю: «Ты чего?» А он вдруг как заплачет! «Били?» — спрашиваю. Он кивает. «Куда били?» Он поднял штанины — а там до мяса кожа сдернута, и гниль уже до колен поднялась. Мне аж тошно стало. Спрашиваю: «Кто бил?» Он: «Такой-то, такой-то, такой-то...» Пошли с ним в класс, где эти сидели. Я им говорю: «Ну вы чего, звери?» А они смеются. Я уж тогда к сержанту подошел. Говорю, помрет ведь парень. Его в госпиталь положили.

— Поправился?

— Поправился. Его в Североморск распределили.

— А эти пятеро?

— Они меня заколебали. Они тех подкалывали, кто тихий, ответить не может. Я однажды не выдержал: «Да вы заколебали, дурью маяться!» Они мне: «А чего ты выступаешь?» Меня такая злость взяла! А это в классе было, на занятиях. Я встал и говорю: «Кто на моей стороне, встаньте!» Сначала Попов встал, друг мой, здоровый тоже шкаф, а потом еще человек двадцать встало. А эти пять как сели, так и заткнулись, и больше не выступали.

— А сейчас вы, значит, сами бьете? — интересуется Арви.

— Бывает, что и вломлю, — соглашается Шаварин. — Приходится. Но за дело. Правда, один раз ошибся, не за дело побил. Это у нас были три туркмена, маленькие и все на одно лицо. Я одному приказал бачки вымыть. Смотрю, он сидит. Я ему вломил, послал бачки мыть. Прихожу — он опять сидит. Я ему опять вломил и снова послал бачки мыть. Позже подхожу — сидят втроем, и все на одно лицо. Я разозлился и всем троим вломил. А бачки они, оказывается, уже вымыли...

— Иди на учебную башню, — говорит мне Тишкин. — До ужина всю башню отпучеглазить сверху донизу, понял? Чтоб я драться не хотел.

Четырехугольная, обшитая потемневшими досками башня похожа на колокольню. Я поднимаюсь на самый верх по скрипучим зигзагам деревянной лестницы. Тут просторное помещение, четыре больших оконных проема. Между досками стен широкие щели. По всему полу раскиданы мятые обрывки газет и пирамидки испражнений. Туалет в роте бывает доступен только два раза в день, утром и вечером. Все остальное время там с тряпками в руках отбивают наказание провинившиеся курсанты. На сквозняке пирамидки быстро высыхают и перестают пахнуть. Я соскребаю их фанеркой и кидаю в проем — там помойка. Отсюда виден весь остров с городом. Совсем рядом, за забором, гражданская жизнь: женщины с колясками, очередь у магазина. Купол военно-морского собора лежит на зелени города, как апельсин на махровой скатерти.

Я соскребаю фанеркой и кидаю, кидаю в проем высохшие пирамидки. Давно уже слышу внизу какой-то глухой шум, возню, но мысли мои далеко-далеко, в детстве, на даче. У нас там росла на участке высоченная елка. Я забирался на самую ее верхушку и мог дотянуться до гладких, блестящих, красноватых шишек. Они висели гроздьями и от каждого моего движения болтались и постукивали друг о друга. До самого горизонта шелестела светом мохнатая равнина. Солнце текло по иглам и взрывалось на конце каждой иглы. Казалось, стоит только перешагнуть дыру между елкой и следующим деревом, а дальше я так и пойду, утопая по колени в иглах и листьях...

...Грохот и хруст, будто ломается деревянная доска. Чей-то болезненный вскрик, чье-то тяжелое дыхание. Бросаю фанерку и бегу вниз. Успеваю увидеть, как из проема двери выбегают Клещ, Гуталин и маленький Кадыров. Кадыров на бегу застегивает пряжку пояса.

Внизу, в полутемной комнатке для спортивного инвентаря на мате, прислонившись к стене, полусидит Юра Булавин. Глаза у него открыты, но он смотрит куда-то мимо меня. Я поднимаю сбитые с него очки и надеваю ему на переносицу.

— Тебя били? — спрашиваю я, как будто это и так неясно.

— Зато теперь я буду как следует заправлять койку, — говорит он, но все равно не смотрит на меня, а как будто рассматривает что-то внутри себя. Потом вдруг словно просыпается. — Слушай... Я что-то ничего не понимаю... Я совсем не могу тут жить... Это как будто дурной сон... Я знал, что будет плохо, мне говорили, но тут гораздо хуже...

Он снова проваливается взглядом в себя и, кажется, теряет сознание. Дышит со стоном.

— Юрка! Юрка! — тормошу я его. — Тебе в санчасть надо! Давай я помогу!

Он не реагирует. Я сажусь рядом с ним и реву от бессилия понять, зачем все это? Зачем?!

Гремят по асфальту парадные матросские ботинки. Родители стоят кучками у плаца и тянут шеи, пытаюсь отыскать в шагающем шта-

кетнике матросов своего сына. Вон мои мама и папа, а рядом Ирка, как хризантема на тонком и высоком стебле.

Мы строимся на плацу в две шеренги. Плечи развернуты, глаза выпучены для придания лицу уставного выражения. Начальник школы, седой, аскетически красивый, произносит речь. Как буквы на бумаге, в мозгу пропечатываются слова: «Этот знаменательный...», «Во имя...», «Отныне вы...»

Рядом с начальником школы стоят торжественные ротный и политрук, а на шаг позади — Тишкин со своей подергивающейся улыбкой.

Начальник школы вызывает нас по списку, вручает лист с напечатанными словами присяги и коротко улыбается каждому.

Арви читает присягу спокойно, негромко.

Кадыров продирается сквозь текст как сквозь колючий кустарник.

Гуталин мрачно бубнит.

Слышу свою фамилию и, чеканя шаг, выхожу из строя.

— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил...

Мне почти нравится эта торжественность. Я упиваюсь собственным лицемерием. Дочитываю присягу.

— Встать в строй!

Поворачиваюсь и занимаю свое место во второй шеренге. Встречаюсь глазами с Тишкиным. Он подмигивает мне, кивает в сторону Ирки и изображает пальцами шагающего человечка. Я не понимаю. Гуталин шепчет:

— Чего сопли жуешь? Иди к своей. Он тебя отпускает.

Пригибаюсь и выскальзываю из строя. Подхожу к Ирке и беру ее за руку.

— Ну как?— из меня еще не вышло чувство торжественности, нагнетаемое с самого утра.

— Ничего. Довольно ненатурально,— отвечает Ирка.

А вот и мама с папой. У папы одобрительный взгляд человека, никогда не служившего в армии. У ног — сумка с гостинцами.

— Ну что ж,— говорит он, по-хозяйски оглядывая постройки, лужайки и цветники.— Мне тут у вас нравится.

— Ты уже успел с кем-нибудь тут подружиться?— волнуется мама.— А товарищи к тебе хорошо относятся? А командиры?

— Так точно!— отвечаю я.

Проживи подольше Маяковский,
Не было бы: «Был и остается
Лучшим и талантливейшим...» Козни
Истребили бы первопроходца.

«Десять лет без права переписки» —
И тогда бы близкие гадалки:
Пропадает бедолага близко
Или замерзает в Магадане?..

Получился бы костер красивый!
Жгли б стихи, как в чумном карантине,
А не то, чтобы вводили силой,
Как картошку при Екатерине.

Вы его ругаете научно,
Но припомните по крайней мере,
Что казнил себя собственноручно
По отчаянью, а не по вере.

Потому-то гнев свой поумерьте
И сочтите, лет минуло б сколько
Прежде, чем посмертное бессмертье
Получил бы вроде Мейерхольда.

Вы ему твердили бы: «Спасибо...»
Вы ему простили бы загибы,
Вы б сказали: «Мелочи, детали...»
И его бы вечно почитали.

Ниже публикуется один из рассказов Агнессы Ивановны Мироновой, записанных мною в 1960—1981 годах, а также воспоминания ее брата Павла Ивановича Аргиропуло.

Я была близким другом Агнессы Ивановны, и ей, много испытавшей в жизни, необходимо было с кем-то поделиться. Поэтому она охотно рассказывала мне, а я, приходя домой, на свежую память записывала ее рассказы. Я не говорила ей об этом, чтобы не сковать ее рассказы неизбежным цензурированием, которое человек накладывает на свое изложение, когда знает, что его записывают. По этой причине рассказы Агнессы — свободны, искренни, интимны, как чистосердечные исповеди.

Агнесса Ивановна умерла в 1981 году, и я считаю, что опубликование ее воспоминаний никак не может повредить ее памяти, наоборот, думаю, что она была бы этому рада. Она была прекрасным рассказчиком, страстным агитатором против «гениальнейшего», как она называла Сталина, при любой возможности в брежневские времена смело разъясняла несведущим правду о прошлом.

ЭТАП

- *Агнесса Ивановна была приговорена к пяти годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). Сперва она попала в Караганду (Долинка), затем группу заключенных направили в этап на отдаленные фермы. Рассказ об этом этапе и приведен ниже.*

Наша партия была разношерстная. Были интеллигентные люди, были простые крестьяне, девушки из Западной Украины и мальчики лет шестнадцати-семнадцати из ФЗУ — фэзушники, которых осудили за подделку продуктовых карточек или за мелкое воровство с голада.

Ночью нас погрузили в теплушку, утром мы уже приехали. Открыли дверь теплушки — солнечное яркое утро в степи. Зеленая степь, красные тюльпаны. Был апрель, в это время в степи все цветет. Тепло.

Вели нас недалеко. Привели к украинской хатке-мазанке, в одну комнату среди степи. «Здесь будем пока жить», — сказали конвойные и приказали строить в хате этой нары. Хатка была небольшая, а нас 45 человек. Построили нары, втиснулись впритык, переночевали.

В первый день конвой выдал нам только хлеба, мы стали воз-

мущаться, тогда на следующий день они дали пшена, лук и бутылку подсолнечного масла на три дня на 45 человек.

Продукты эти оказались тут же на «базе». Я еще накануне заметила небольшую пристройку к хатке, вероятно, крестьянский сарайчик для птицы, но сейчас там птицы не было, жила там худая, бедно одетая женщина. Она была уже вольная. Срок отбыла, но шла война и вышел приказ: задерживать до ее конца. Вот она и пристроилась здесь «завхозом».

Очень важно иметь в лагере свою посуду. Если у тебя есть своя посуда, ты получаешь первой вершки, а весь жир — сверху, последнему остается одна муть. Другие ждут, пока освободится твоя посуда. Поел — передай другому, тот — третьему. Только следи в оба за своей посудой, у кого она, чтобы не «испарилась». Негигиенично? Грязно? Какая там грязь! Какая гигиена! На это не обращали внимания.

Я уже поняла, что значит своя посуда. Незадолго до этого, как раз выменяла на хлеб поллитровую эмалированную кружку в виде усеченного конуса, малым основанием вниз. Я все это рассказываю вам подробно, чтобы вы поняли, как я спасла свою жизнь.

Я стала делать игольник. Я отрезала кусочек подкладки от шубки, я ведь свою беличью шубу там в лагере не снимала ни зимой, ни летом, ни на миг с ней не расставалась. Пусть она уже и вида того не имела, что прежде, но служила мне верно.

Вот я и отрезала кусочек розовой шелковистой подкладки маленьким перочинным ножиком, который ухитрилась прятать во время «шмонов» (обысков), нащипала с разных своих вещей ниток — синих, желтых, каких где возможно, — из юбки, из трико, из чего только смогла, набила кусочком ваты, который у меня был, и сшила шестилепестковый «цветок», подрубила двойной ниткой и вышила его ярко и красиво.

Когда игольник был готов, я постучала в пристройку к «завхозу», та дверь приоткрыла, грубо:

— Чего тебе?

Я ей показала игольник.

— Вот этого вам не надо?

Она увидела, сразу выражение изменилось. Очень ценилось такое у женщин в лагере, всем хотелось хоть немного, хоть какой-нибудь красоты, иллюзии домашнего уюта. «Завхоз» расплылась:

— А что тебе за это?

— Хлеба...

— Нет у меня хлеба. У конвоя хлеб.

— А я без хлеба дать не могу. Я голодная.

— Я понимаю. А если пшена?

— Давайте!

И она насыпала мне полкружечки пшена. Я попросила еще щепотку соли.

Варят на плите нашу баланду. А я говорю: «Буду следить за огнем». И стала подкидывать щепочки разные и солому, а на край скромно, осторожно поставила свое пшено в кружке, до краев налив ее водой. Поставила и думаю, что они скажут? А ну сейчас прогонят с плиты?

Пшено вскипело и стало распухать и вот уже полезло из кружки. Я сняла, чуть остудила и стала есть огрызком гребенки — ложки у меня не было. Ем его, а оно — горячее, густое!

Я съела. Сварилась баланда, и я протянула кружку одна из первых. Все косятся, но молчат. Съела я все это и чувствую в желудке тяжесть, сытость. Давно я такая сытая не ложилась спать.

Помните у Джека Лондона рассказ «Кусок мяса»? О боксере, который не мог перед рингом купить этого мяса и проиграл, не оказавшись достаточно сильным? Так вот у меня был, правда, не кусок мяса, а полкружки пшена, но эти полкружки меня спасли.

Утром, помню число — 23 апреля 1943 года — нас погнали дальше. Было солнечно, но такой сильный встречный ветер, что идти против него не было сил. Я говорю ВОХРе:

— Нас же ветром свалит!

— Но итить надоть, так твою мать!

— Так не в такую погоду. Можно еще здесь пожить.

— У нас приказ, — и опять «тра-та-та».

И погнали. Мы — в середине, они с собаками — по сторонам. «Шаг вправо, шаг влево — конвой стреляет без предупреждения».

Вот некоторые держат собак — немецких овчарок. Любят их, заботятся. Конечно, может быть, собака хорошая, да и в чем она виновата? Но я их видеть не могу. Я их после лагеря не переносу, как увижу, словно глянет на меня лагерь из какой-то щелки. Обхожу большим кругом.

Нас, правда, на таких переходах не очень собаками этими охраняли. Это где-нибудь на станции или в городе (ну и в лесу) они жестко стерегли заключенных, а тут, в открытой степи, охранники не боялись, что мы убежим. Вскоре пошли кто как может.

А идти тяжело, жарко. Я на себя одела все свое теплое, ну и, конечно, в шубке. Тут подвода. Снисхождение: «Кому тяжело, кладите вещи на подводу!»

Все стали класть. И я положила часть вещей, среди них — заветная моя кружка.

Облегчение, но не надолго. Ветер страшный, все усиливается, по небу пошли темные тучи, оно закрылось, и при том же ветре пошел дождь. Сразу стали образовываться лужи, дорогу развезло, она стала, как грязная река, месим грязь, спотыкаемся. Дождь сменился градом — лупит по спине, в лицо. Все от дождя промокли, теперь стало холодать. Мокрая одежда замерзает, на меху моей шубки образовались льдинки, если бы не ураганный ветер, слышалось бы, наверно, звенят, как подвески.

Пошел густой жесткий снег. Снег и ветер такие, что в трех шагах человека не видно — где конвой, где мы. Пурга. Все перемешалось, конвой исчез. Молодежь наша где-то впереди, старики отстали, я где-то посередине. За воем ветра не слышно ничего, может, кто-то что-то кричит. Сил нет, дышать нечем, ветер со снегом забивает дыхание. А надо идти, преодолеть страшную стену, остановиться нельзя. Только впереди спасение. А сил нет...

Около меня люди падают и уже не встают. Была с нами рослая красавица-полька. На воле осталось у нее четверо детей. Одета она была только в ватные брюки и в ватную телогрейку на голое

тело — всю одежду с себя она поменяла на хлеб. Ватное на ней промокло от дождя насквозь, теперь оледенело. Она шла недалеко от меня. Я видела, как она упала. Остановиться, помочь? Надо, надо! Не сделаешь, потом затерзаешь себя. И тут же мысль — если только остановлюсь, помогу ей, уже не встану и я...

Идти! Идти! Идти! И мечта — хоть бы какая-нибудь стенка от ветра и бури! Прилечь за ней, привалиться, спрятаться от бурана и замереть, не шевелясь! Чтобы больше не выскакивало сердце!

Но как хорошо, что такой стенки не оказалось! Стоило мне упасть, лечь, и я бы уже не поднялась.

Иной раз заряды снега вдруг стихали. На короткое время прояснялось. Тогда сбоку, чуть сзади меня, я видела на горизонте под темными тучами узкую светлую яркую полоску неба — тот солнечный день, от которого мы ушли. Я нет-нет, да и видела ее, эту полоску, оглядываясь. Я молилась ей, как будто там был Бог, она меня поддерживала. Дойти, дойти! Господи, если ты есть, если ты только есть, сделай так, чтобы я дошла!

Я дошла.

Как животное, я вдруг почувствовала запах дыма и поползла, потащилась, преодолевая новые заряды снега, на этот запах.

Вот впереди, мне показалось высоко, взметнулся огонь! Стена!

И вдруг буран стих, как обрезанный. Я оказалась в грубой пастушьей глиняной постройке для овец. Среди пола горел костер, дым и пламя выходило в дыру крыши. Вокруг костра наш конвой (они бросили нас, спасая себя), собаки, девушки из Западной Украины, фэзэушники.

Там был плетень, разгораживающий кошару, одна из частей ее была, вероятно, для овец. Плетень ломали, кидали в огонь. Кидали и гнидую солому, которая была здесь же.

Еще не чувствуя, не воспринимая ничего, я ползла к огню, к чудесному спасению человека — к огню! Я села близко, протянула руки — к огню. Я была спасена!

Потом я сняла шубку — внутри она оказалась сухая! — повесила ее сушиться на жердь, льдинки, сковывающие мех, таяли, капали. Я подвинула ноги — ботинки мои в дороге разбились, разорвались, спали с ног, я их потеряла. Конец пути я по снегу шла в носках. Но ноги были живы, они уже чувствовали жар огня.

Вохровцы пререкались, вероятно, посылали один другого идти назад, приводить отставших. «Ты иди, так твою мать!», «Иди сам, тудыть тебя!» Такой шел между ними мрачный диалог, а ведь они были в шапках-ушанках, в тулупах, в рукавицах!

— А Сеня где? Сеня где? Он же шел рядом! — встревожились девушки с Западной Украины. Сеня был фэзэушник, который с ними дружил. Девушки стали говорить конвою, что надо за ним сходить (о стариках они не беспокоились...) Говорить конвою — значит опять наткнуться на злую ругань. Тогда девушки, молодые, сильные, решили идти сами. Тут уж один вохровец выступил охотным советчиком:

— Возьмите головешку, в дверях ей махайте, чтобы видно... Ведь стало уже совсем темно, ночь.

Девушки не приняли совета:

— Не надо, нам и костер в трубу видно.

И они ушли. Молодцы! Они принесли Сеню без движения. Опоздали? Он замерз? Его положили у огня, стали растирать. И вот через какое-то время ресницы его дрогнули, и он ожил.

А я, сняв шубку, завернулась шерстяным платком. Вдруг чувствую кто-то тянет платок. Я оглянулась. Мужчина в одном белье с мокрыми полосами на нем пытается залезть под мой платок. Я отпустила край, он завернулся, обняв меня, а рукой взялся за пустой мешочек моей левой груди. Мне было все равно. Так мы и сидели рядом, прижавшись друг к другу под моим платком, не шевелясь, ничего не желая. Кто он, как его звали — я так и не знаю, потом я его не встречала. Мы не говорили друг с другом, мы не могли. Мы были как два несчастных животных, приползших к теплу, прижавшиеся к теплу, спасающиеся теплом.

В полузабытьи мы провели ночь. Только станет костер пригасать, кто-то встанет, подбросит. Весь плетень сожгли.

Утром яркое солнце над обледеневшей степью. Травы, цветы? Ничего этого не было видно под снегом и льдом.

Откуда-то примчались на тачанках еще вохровцы. Кричали. О чем — не помню. Поехали с подводой собирать павших. Привезли 15 трупов. На телеге лежала та рослая красавица-полька в ватнике, около которой я не смогла остановиться. Рука ее свешивалась с телеги, жестко вздрагивала при толчках.

Кто-то у нас стал возмущаться, вохровцы отвечали, констатировали спокойно, флегматично:

— Это у нас каждый год так.

Умершие, замерзнувшие, погибшие их не очень беспокоят. Лишь бы число сошлось. Соответствующие начальники вычеркнут из списков, закроют дело. Вот если побег — тут уж они отвечают! Тут они звереют.

Теперь вам должно быть понятно, почему я так подробно рассказывала о кружке, игольнице, шубке? Они спасли меня: горячее пшено и капля жира в супе, которые я съела накануне. От них я была сыта еще утром, у меня появились силы, а беличья шубка не пропустила воды к моему телу.

Я говорю о вещах. Но ведь я молилась, я горячо, страстно молилась: «Боже, если ты есть, если ты только есть, сделай так, чтобы я дошла!»

И я дошла.

Мама учила нас, детей, молиться, верить в Бога, ходить в церковь. И я верю, хотя в церковь не хожу. Есть Бог, есть что-то, поверьте мне!

А наши вещи, которые мы на телегу положили, пропали. Нам сказали, что телега в буране перевернулась и никто собирать вещей не стал. Врут, наверное, себе взяли.

Там пропала и моя кружка.

КАПИТОН КВАРАЦХЕЛИЯ — БРАТ ЛАВРЕНТИЯ БЕРИЯ

(Рассказ Павла Ивановича Аргиропуло—
брата Агнессы Ивановны)

Я расскажу вам о своей работе в Сухуми перед войной и во время войны.

Работал я тогда в тресте Нефтесбыта, где сперва директором был двоюродный брат первого секретаря обкома Абхазии Лакобы. А Лаврентий Берия был первым секретарем крайкома Закавказья.

С Лакобой они были врагами.

Лакобе удалось довести до сведения Сталина кое-какие дела Берия на Кавказе, и, чтобы нейтрализовать это, Берия срочно поехал в Москву. Приехав, он добился приема у Сталина и бросил ему на стол свой партбилет: если это правда, то исключайте из партии!

На Сталина темперамент Берия произвел впечатление, он обратил внимание на Берия, и вскоре стал поднимать его. Таким образом Берия переборол Лакобу, и Лакоба фактически был отдан Берия на расправу.

Лакоба был вызван в Тбилиси, и там его роскошно угостили и отравили. Поезд привез его тело в Абхазию. Абхазская партийная верхушка торжественно встретила траурный поезд. Похороны отметили пышно. Для Лакобы был построен специальный склеп-мавзолей. Но родственники, чуя недоброе, выкрали тело оттуда и тайно перехоронили в горах.

Затем был начат процесс против партийной верхушки Абхазии. Их было 13 человек. Все были обвинены в измене Родине. Но это было не сразу. Сперва их обвинили в бытовом разложении — в групповом изнасиловании молодой девушки — дочери московского профессора. Когда она загорала на пляже, один из них, якобы познакомился с нею и предложил покататься на своей машине. Он повез ее в горы, в «Орлиное гнездо», где верхушка Абхазии обычно собиралась и пировала. Потом тело этой девушки нашли в горах, в пропасти. Отца, профессора, вызвали из Москвы на опознание.

Думается мне, что все это было подстроено и что несчастная девушка эта послужила предлогом для провокации.

Двоюродный брат Лакобы был начальником треста Нефтесбыта в Сухуми, но когда всех людей Лакобы обвинили в измене Родине, его арестовали и расстреляли как врага народа.

А на его место Берия посадил своего брата — родного по матери (у них была одна мать, но разные отцы) — Капитона Кварацхелия, который был малограмотен и в работе ни бе ни ме.

До того Капитон работал на КВЖД под началом своего дядюшки, который ведал всеми ресторанами на станциях дороги. После ликвидации КВЖД Капитон остался не у дел, и брат Лаврентий устроил его на место казненного родственника Лакобы.

Техническим директором Нефтесбыта был Цаквава — очень знающий человек, хороший специалист, который до революции работал еще у Нобеля. Он, как подчиненный родственника Лакобы («человек Лакобы»), подлежал аресту (как враг народа), но Лаврентий

Берия тогда уже шагнул в Москву, и Капитон, который без Цаквавы не мог сделать и шага, написал Лаврентию, и Цакваву оставили на работе.

Капитон любил всячески подчеркивать, что Цаквава у него в руках, что он ему обязан жизнью, выказывая ему свое превосходство и пренебрежение. Часто потешался над ним. Любимой темой была мать Цаквавы. У матери Цаквавы было несколько сыновей, и они сказали ей: будешь жить то у одного, то у другого. Но или несладко было ей у сыновей, или был у нее такой зловредный характер, что часто ссорилась и, поссорившись, старалась уколоть побольней. Только она иногда выходила на центральную площадь Сухуми и становилась там с протянутой рукой — просить милостыню. А семью эту в Сухуми хорошо знали, и это был страшный позор для них.

Капитон «держал» Цакваву и мог позволить себе с ним все, что хотел. А со мной вел себя сдержаннее. Без нас с Цаквавой он ничего не мог по работе, так как ничего в ней не смыслил.

Капитон получил свое богатое местечко в Сухуми, но Берия поставил ему условие: если он вылезет оттуда, Лаврентий снимет ему голову. Берия не хотел, чтобы Капитон явился в Москву, его, Лаврентия, компрометировать своим поведением или рассказами о прошлом.

Но в Сухуми своим приближенным Капитон рассказывал об их общей с Лаврентием юности, никого не стесняясь. Говорил, что мать «подняла их иглой», то есть зарабатывала на жизнь шитьем.

Подростя, они примкнули к группе «золотой молодежи» Тбилиси. Никакие это не были политические течения, а просто «бандочки» юнцов, которые дебоширили, насиловали, дрались — творили, что хотели.

В одной стычке Капитон потерял ногу. Шли два трамвая навстречу друг другу. Капитон был в одном из них. К трамваю кинулись юнцы, кто-то крикнул ему: «Спасайся! Они сейчас тебя будут бить!» Капитон соскочил с трамвая и перебежал через пути, не видя встречного или думая на него перескочить (он рассказывал то так то эдак), попал под колеса, ему покалечило ногу. Лежа под трамваем, Капитон пытался его поднять — он был очень здоровый, но только надорвал мышцы. Врачи в больнице обратили внимание только на ступню, не заметили, что сломан еще и тазобедренный сустав, и нога срослась неправильно. Протез поставить было нельзя. Капитон ходил на костылях.

Как-то в Сухуми приехал отдыхать Бурденко. Капитон сунулся к нему, но Бурденко заявил, что он на отдыхе никого не принимает. Капитон сообщил Лаврентию, тот припугнул Бурденко, и он принял Капитона. Осмотрел его и сказал, что ничем помочь не может, потому что Капитон не перенесет тяжелой операции из-за болезни сердца, а операция эта была — подготовка ноги к ношению протеза. Так и остался Капитон на костылях.

В Сухуми Капитон вел широкую жизнь. Например, говорит мне: — Поедем, кацо, в командировку.

Я выписал себе 250 рублей (по нынешнему 25). Капитон смеется:

— И тэбэ хватит? Э, не знаешь ты жизни, Павел Иванович! Пайдем ко мнэ в кабинет.

Заходим, а там на столе — пачки денег — 60 тысяч! Капитон говорит:

— Возьми, Павел Иванович, часть сэбэ в портфель, а то ко мне не умещается.

Едем международным вагоном. Капитон посылает проводника за вином и закусками, приглашает всех пассажиров вагона, и начинается пир на всю ночь.

Приезжаем в Баку, берем машину, едем в гостиницу. Служащие Капитона уже хорошо знают, сразу нам номера «люкс». А тут в вестибюле командированные по двое суток сидят. Они возмущаться!

Выходит к ним заведующий гостиницы:

— За-чем волноваться, здоровье расстраивать! Тут бронь, за неделю заказно... Это ба-альшой человек, номера ему бронированы! А все неправда, даже не предупредили.

И начинается пир — теперь уже в ресторане. Капитон весь зал угощает. Если кто-нибудь хочет расплатиться, тянется к карману, он руку останавливает: «Не нужно! Все уплачено!»

Затем посылает своего холоуя Антипа к «девочкам»:

— Выбирай помоложе! Возьми машину, привези адреса. Сколько будет стоить — не считай. Тысяч пять — десять — это ж пустяки!

Антип привозит адреса. Едут туда, кутеж продолжается уже у «девочек».

Когда Капитон бывал в хорошем расположении, я старался его разузнать: как можно такие деньги тратить?! А Капитон и слушать не хотел:

— Ничего ты не понимаешь, кацо, жизни не понимаешь!

Так и прокутит за командировку тысяч 60—70.

У Капитона была семья: жена — приличная женщина, дочь и сын Вахтанг.

Была у него секретарша 17 лет, которую он одевал и деньги давал неограниченно. Но секретаршу эту вскоре сменила другая. Он их не держал долго. Надоеет — меняет.

А такие деньги вот как он добывал.

Посылает, например, в Москву наркому нефтяной промышленности вагон с подарками — там столько-то ящиков чая, фрукты, вино и т. д. С вагоном едет охранник и сопровождающий. С ним Капитон передает письмо: «Посылаю то-то и то-то. Разрешите мне на нужды строительства нефтебаз потратить 6 тысяч тонн бензина».

Тот телеграмму: «Разрешаю».

А бензин этот Капитон продает «налево». Продает колхозам, совхозам, а председатели ему за то — деньги, вино, мандарины. Он деньги эти гребет кучей и — в стол, не считая. Вот за ту операцию, о которой я только что рассказал, он выручил 750 тысяч рублей. Но, кроме того, капитаны нефтеналивщиков всегда имели избытки. Он изымал их и перепродавал.

Там было восемь нефтебаз, самая южная — на берегу Черного моря — Очимчири. Капитон ездил на «ревизии» нефтебаз, брал с со-

бой нас с Цаквавой. Припугивал заведующих, что у них недостача (те тоже воровали), они откупались.

А когда к Капитону приезжала ревизия, он закупал для ее состава лучшие номера в гостинице, устраивал роскошное угощение, задушивал — тонны масла, вино, фрукты...

Или еще так — менял нефть на спирт: ему наливали специальные фляги. Вино он забываллв спиртом и страшно напивался.

Имея в Москве поддержку Лаврентия, он был неуязвим. Все мы — и Цаквава, и я, и другие сотрудники — всё о его делах знали, но он ничуть не боялся, что мы донесем, — за его спиной стоял его брат, а это была страшная и сильная рука, и Капитон понимал, что мы не посмеем пикнуть.

А он напется, бывало, и начинает орать на нас:

— Беляки! Черносотенцы! Такие-разэтакие!

Однажды в Очимчире на пиру я вдруг почувствовал у виска металл: Капитон пьяный приставил мне к виску револьвер и ругается: — Такой-разэтакий, так твою мать, черносотенец!

Антип и Цаквава успели схватить его руку, и выстрел прогремел в потолок.

Мне пришла повестка явиться в военкомат. Я сказал об этом Капитону.

— Ну что же, — отвечает, — тогда иди домой, тебе же нужно проститься.

Я собрался, распрощался, пошел в военкомат, докладываюсь. А работник военкомата, к которому я обратился, говорит другому, сидящему за картотеккой:

— Посмотри, кацо, там на него бронь есть как на специалиста.

И правда — есть. Я удивился, пришел к Капитону, тот смеется.

— Я тебе нарочно не сказал, пусть, думаю, простится.

Его это очень позабавило. Приподнес мне сюрприз. Он вел себя со мной, как великодушный царек.

Немцы подходили все ближе. В Сухуми стало небезопасно, и Капитон послал меня в Тбилиси, где жила общая их с Лаврентием мать. А послал именно меня вот почему: Агнессу тогда арестовали, и наша сестра Лена через знакомого спрашивала, не попрошу ли Капитона походатайствовать? Я попросил, Капитон говорит:

— Я не могу. Ты поезжай к нашей матери, может быть, она сможет.

Я поехал. Капитон дал мне с собой незаклеенное письмо к матери. В этом письме он спрашивал, может ли она прислать за ним вагон, чтобы перевезти вещи, вывезенные еще с КВЖД, сможет ли прописать, устроить, а в случае надобности — добыть другие паспорта (на случай немецкой оккупации или для того, чтобы бежать за границу)?

Я поехал по военной броне.

В Тбилиси мать Лаврентия и Капитона занимала весь верхний этаж общежития НКВД. Там она жила не одна, а с двумя родственницами, так как ей было скучно.

Она грузинка, одета была, как грузинка, в маленькую шапочку на голове, вся в черном, длинном, производила впечатление культурной женщины. Встретила очень хорошо. Я поспешил к ней утром,

сразу с дороги. Она дала распоряжение прислуживающим организовать завтрак. Завтрак этот оказался роскошным — пир горой! Позвала одного грузина — пить со мной. «А то я не пью», — сказала она. «Да и мне ведь надо по делам», — попытался я увильнуть, но не получилось.

С собой она дала мне письмо (запечатанное), а на словах сказала, что и вагон будет, и прописка, а если надо — и паспорта...

Мое заявление об Агнесе она взяла, обещала передать Лаврентию, но не ручалась за успех, не знала.

Результатов — никаких. Или не передала, или — без толку.

А немцев отогнали.

Капитон продолжал свою широкую жизнь. Мы с Цаквавой стали бояться. Правда, боялись давно, но чем дальше шло время, тем больше боялись. Если Капитону все сойдет, то нам не сойдет ничего, наоборот — все на нас свалит. Мы стали пытаться уйти.

Я не раз уже просил Капитона меня уволить. Но он ни в какую не пускает, сердится. Наконец я его упросил. Он сказал:

— Ну хорошо, ты только найди на свое место хорошего инженера...

Так я ушел.

Умер он в конце войны после пира. Подавился на пиру костью, как собака. Кость застряла в пищеводе. В больнице вытаскивали, но случилось заражение, и он умер.

Хоронили его с почестями. На могиле поставили грандиозный памятник. Специальный человек следил за содержанием могилы, чтобы всегда были свежие цветы.

Потом Берия пал...

Я недавно был в Сухуми пошел на кладбище, там у меня похоронен мой маленький сын десяти месяцев. Мы посадили когда-то у могилы три сосенки, а теперь они разрослись в молодую рощицу.

Спросил у уборщицы:

— А где могила Капитона Кварацхелия?

Она смеется:

— Раскидали ее, следа не осталось.

В тир, пустой совершенно,
Заглянул рыжий парень,
Посмотрел на мишени:
«Каждой твари по паре!

Я давно не целован,
Рассчитаюсь с тобою —
Дай-ка мне на целковый,
И центрального боя!»

Он стрелял по мишеням,
Он, видать, был в ударе,
Словно киномошенник
В браконьерском угаре

Он стрелял по мишеням,
Абсолютно не целясь, —
Зайцы падали — шельмы,
Крылья мельниц вертелись.

Умирили олени
И ушастые совы —
Он стрелял по мишеням,
Как расстреливал сонных.

«Слушай, тирщик, — зверея,
Тихо он прорычал, —
Перебил всех зверей я,
Нажимай на рычаг!»

...Шли по тундре олени,
В чаще ухали совы,
В море плыли тюлени,
От любви невесомы,

И смеялись дельфины...
А в малюсеньком тире
Все сидел старый тирщик,
Молчаливый, как филин.

Предки Павлика Морозова были, по бюрократическому определению, инородцами, то есть людьми нерусской национальности. И жили они в западной части Российской империи, в Белоруссии. Белорусами были мать и отец Павлика — по крови, месту рождения и документам. И сам Павлик был белорусом. Об этой детали можно было бы и не упоминать, если бы властям не понадобилось превратить его после смерти в русского. В печати начали подчеркивать, что Павлик Морозов — русский мальчик, «старший брат» и тем самым служит примером для детей всех других народов. Чтобы не оставалось сомнений, писатель Губарев в статье «Подвиг русского мальчика» («Комсомольская правда», 3 сентября 1957 г.) заявил, что Морозов родился у русской матери, чтобы и мать героя соответствовала требуемым стандартам.

Теперь в герои производят после тщательной проверки анкет в инстанциях, а тогда в спешке власти об этом забыли и проморгали еще более неприятные места в досье главного пионера.

Сергей Морозов-старший, прадед нашего героя, в прошлом веке сражался за государя-императора в русской армии, был участником нескольких войн, кавалером шести орденов. После армии он пошел на государственную службу, стал тюремным надзирателем. Его сын, тоже Сергей, дед Павлика, сперва был жандармом. Он влюбился в заключенную, которую сопровождал в тюрьму, и едва она отбыла срок, женился на ней. Ксения, бабушка Павлика, была, говорят, редкой красавицей и профессиональной конокрадкой. Ремесло дерзкое, требующее характера. Бабушка Ксения имела в молодости две судимости и дважды сидела (полтора года, потом еще три), причем второй раз дедушка сумел освободить ее за взятку накануне свадьбы. Таким образом, пионер-герой Павлик Морозов происходит по мужской линии от жандарма и профессиональной воровки. Это, разумеется, не афишируется.

В начале века Морозовы среди тысяч других белорусов подались искать счастья в Сибирь. Русское правительство поощряло освоение тайги инородцами. Отправка белорусов в Сибирь была частью политики русификации — их отрывали от своей земли, от языка. Но добровольно. По дешевому тарифу крестьян довозили до места, давали на мужскую голову пособие 150 рублей (деньги по тем временам немалые) и каждую весну — семена. Двоюродная сестра матери Павлика Вера Беркина рассказывала нам (здесь и далее даем перевод с русско-белорусского диалекта):

«Я была девочкой девяти лет, когда меня повезли сюда. Доехали

по железной дороге до Тюмени. Отец купил лошадь с телегой и пошли туда, где была земля. В Белоруссии у нас земли было совсем мало, а здесь — сколько от леса отнимешь — вся твоя. Другие, тоже наши, плыли вверх по реке Тавде на пароходке, а от реки шли пешком. Переселенческий начальник регистрировал прибывших и давал деньги. В отведенных для поселения местах уже были вырыты колодцы. Народ приезжал выносливый, живучий. Первое время ютились в землянках».

Дополним воспоминания живого свидетеля данными из архивного источника¹. Весь этот район Сибири заселяли белорусы. На отведенный участок пришли в 1906 году сорок семей, самый старший из мужиков был Герасим Саков, по нему и назвали деревню Герасимовкой. Дед Павлика с семьей зарегистрирован в Герасимовке с 26 октября 1910 года.

Географически Герасимовка находится в центре России, однако была и теперь остается глухой окраиной. Места эти чаще всего именуют Зауральем, или Северным Уралом, хотя они относятся к Западной Сибири.

В прошлые времена на этих землях жил мирный народ манси. Русские пришли сюда впервые в XVI веке под началом Ермака и с оружием в руках вытеснили мансийцев подчистую. От них остались лишь названия некоторых деревень. Потом белорусы жгли и корчевали лес и пространство, отвоеванное у тайги, засевали. До недавнего времени обугленные стволы, навевая тоску, толпились вокруг деревни. Их спилили лишь недавно. Постепенно строили избы, зимой отправлялись на заработки в Тавду, на лесозавод, где сейчас работают заключенные, на строительство железной дороги. «Тяжело доставалось народу. Многие умерли без времени», — вспоминает один из старожилов.

Герасимовка так и осталась деревней. В соседних селах построили церкви. «А мы иконы привезли с собой, — вспоминает Беркина, — в церковь ходили по особому случаю, обычно устраивали молебны у себя».

— А вы какой веры?

— Какой все, такой и мы! Не басурманы же!

Попавшие сюда белорусы были в большинстве православные. Старики рассказывают, что в те давние годы по деревням ездили коробейники, торговали бусами, ружьями, скупали пушнину. Бывало, грабили их в тайге. В Герасимовке, которая стояла в стороне от тракта, в полной глуши, было спокойнее, чем в округе. Да и люди перероднились за годы совместного противостояния суровости жизни. Деревня была тихая, непьющая, работающая. Кроважность появилась в «классовой борьбе», когда пришел 1917 год.

Самым крупным событием в большой семье Морозовых была не революция, а женитьба второго сына Трофима на Татьяне, в

¹ Книга водворения на участке Герасимовском Тобольской губернии. Государственный архив Свердловской области, Ирбитский филиал. Ф95-4, лл. 1, 29, 31.

девичестве Байдаковой. Это были родители Павлика Морозова. Татьяна переселилась к Трофиму из соседней деревни Кулоховки. Была она по деревенским понятиям уже в возрасте, ей исполнилось двадцать, а Трофиму двадцать шесть.

«Трофим был ростом высокий, красивый,— рассказывала нам одноклассница Павлика Матрена Королькова.— Татьяна тоже крепкая и сложенная складно, а черты лица правильные, и, можно сказать, она тоже красивая». Для родителей Татьяны свадьба ее была радостью. У них был один сын и пятеро дочерей, а девки, как известно, в крестьянской семье обуза. Молодые поставили избу рядом с отцовской, на краю деревни, у леса. Дед с бабушкой отдали им часть нажитого добра. Через положенное время у Татьяны и Трофима родился первый сын.

Дата рождения этого мальчика — 14 ноября, если полагаться на энциклопедию или на издание Герасимовского музея, где об источнике сказано: «На основании записи о его рождении». Саму эту запись нам найти не удалось. Согласноobelisku, установленному на месте дома, в котором он родился, Павлик появился на свет 2 декабря. Старый и новый стиль не помогают объединить эти даты, тем более что и год рождения, указанный там — 1918, вызывает сомнения. Разные авторы пишут, что в 1932 году, в момент смерти, Павлику было 11, 12, 13, 14 и 15 лет². Даже мать не вспоминала даты рождения сына. Осенью по распутью Морозовым бы и верхом до церкви в Кушаках не добраться, а тут ударил лютой мороз и по льду легко проехали в телеге туда и обратно. В церковь внес его дядя Арсений Кулуканов, тот самый, который заплатил жизнью за крестника. Но теперь мы, по крайней мере, уверены, что Павел родился в деревне Герасимовка, а путаница с его местом рождения вызвана бесчисленными послереволюционными переименованиями.

Окрестили мальчика Павлом, а звали Пашкой. Никто при жизни его Павликом не называл. «Пионерская правда» некоторое время именовала его Павлушей, а затем ласково Павликом. Это подхватила вся пресса. Теперь и в деревне употребляют имя Павлик — ощутимый результат воздействия на граждан средств массовой информации.

Если верить книгам, в 1917 году приехали в Герасимовку из волости большевики и вместо старосты избрали на сходе сельский совет. Крестьянин Лазарь Байдаков, однако, утверждает: «Сельсовет тут организовался только в 1932 году. Мужики уходили воевать кто за Троцкого, кто за Колчака. Советской власти никто не понимал». Города, что южнее и важнее, переходили от белых к красным, от красных к белым многократно, но Герасимовки это не касалось. Деревня сеяла хлеб, убирала, излишки вывозила на рынок.

В Герасимовке изредка появлялись отряды с винтовками, отбира-

² Картоотека Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина называет годом рождения Павла Морозова 1921-й, т. е. прожил он 11 лет; 12 лет — согласно данным в книге проф. К. Базилевича и др.— «История СССР», ч. 3. М., 1952; 14 и 15 лет — в «Пионерской правде», 15 октября, 2 октября и 5 декабря 1932 г.

ли продукты, не оставляя и для малых детей. Летом и зимой добаться до районного центра на лошади требовался день. Весной и осенью дорога уходила в болотную топь. Уровень земледелия Советской России 30-х годов соответствовал Англии XIV века. Белорусы-переселенцы жили своим натуральным хозяйством. Русских они не любили и называли «челдонами».

Началась коллективизация, но здешних крестьян она не слишком беспокоила. Никто ее всерьез не принимал. У стариков была уверенность, что скоро все вернется на старые рельсы. Попытки организовать здесь колхоз терпели неудачу. Получалось — и это вызывало раздражение новых властей, — что глухая деревня живет вопреки всем постановлениям партии и правительства, вопреки призывам. Мужики научились обходить острые углы. С уполномоченными хитрили. В разгар очередного голосования за колхоз кто-то с улицы истошным голосом кричал: «Горим!.. Пожар!..» И все разбегались — снова не соберешь. В работу по обложению налогом власти вовлекали милицию, комсомол, отряды Красной Армии, учителей, библиотекарей, рабочих из города. Крестьяне скрывали, сколько они произвели зерна. Некоторые пытались выполнять так называемые «твердые задания», но вскоре поняли норов власти: выполнишь задание, тебе его еще увеличат.

Почему маленькая Герасимовка ухитрялась сопротивляться могучему молоху террора, который начал перемалывать крестьянство целыми губерниями? Нам кажется, причин по меньшей мере две. Первая: сюда переселились люди особого характера, упорства. Вторая: герасимовцы полагали, что их не тронут — из этой глухомани, из края ссылок гнать уже некуда. Но они недооценили Советскую власть и ее принципиальное отличие от власти царской.

Сюда в начале 30-х годов начали ссылать крестьян с Украины и с Кубани. Количество ссыльных по сравнению со старыми временами увеличилось в тысячные раз. Строились лагеря, а пока они не были готовы, конвой просто приводил очередной этап и оставлял ссыльных в лесу. Не тронутая человеком тайга отбирала людей и сортировала их сама. Вскоре стали поступать ссыльные крестьяне из центральных районов России. Газеты писали, что эти районы после высылки кулаков успешно справляются с коллективизацией. Местное же уральское руководство мотало на ус: значит, и нам надо высылать тех, кто мешает. Куда же высылать из традиционного места ссылки? А есть еще край вечной мерзлоты. В герасимовских местах ситуация сложилась трагикомическая: привозили одних — вывозили других, таких же. Тех и других под конвоем. Такова была картина в стране, когда в Герасимовке, в семье Морозовых, произошла ссора.

Как жили Трофим и Татьяна Морозовы, теперь невозможно установить. У них родилось пятеро детей, один умер. Примерно десять лет супруги прожили вместе. Потом Трофим ушел к молодой жене Соньке Амосовой (по рассказу Соломеина), Лущке Амосовой (по рассказу учительницы Кабиной) или Нинке Амосовой (по свидетельству Морозовой). Путаница имен объясняется тем, что у Амосовых было четыре дочери, и все красивые. Нина (именно ее, как выяснилось, выбрал Трофим), вспоминает Королькова, была из них

самая симпатичная, нрава веселого, и, возможно, это потянуло к ней Трофима.

Татьяна Морозова нам рассказала: «Трофим вещи забрал в мешок и ушел. Приносил нам сперва сало, а потом стал пить, гулять. Нинка, шлюха продажная, до него сто раз замуж сбежала. Ее все бабы ненавидели за то, что отбивала мужиков. После войны я в Тавду за документами поехала и там в милиции увидела Нинку, она тоже за чем-то пришла. Я при полковнике-женщине говорю ей: «Ах, дрянью ты продажная, немецкая. У тебя детки — от кого ручка, от кого ножка, от кого лапка, от кого жопка. А у меня все законные. Ты — гадина подлячья, из-за тебя мои дети порастерялись, сучка!» И полковник-женщина молчала, не вмешивалась».

Так или иначе, Трофим ушел от Татьяны перед ссорой со старшим сыном и имел две семьи³. Жил он то у сестер, то у новой тещи и домой возвращался все реже. Факт, что Трофим ушел из семьи — невероятный. Крестьяне от жен не уходили. И если он это сделал, поступок такой говорит о многом и не в пользу его первой жены. Соломеин, который не раз оставался в доме Татьяны Морозовой, вспоминает (запись есть в его блокноте и не вошла ни в книгу, ни в статьи): «Неряха. В комнате грязно. Не подбирает. Это результат российской некультурности. За это не любил ее Трофим, бил».

Когда читаешь книги о драме в деревне Герасимовка, остается непонятной причина, побудившая мальчика донести на отца. «Отец из семьи ушел, — вспоминает одноклассник Павлика Дмитрий Прокопенко. — Лошадь и корову надо было кормить, убирать навоз, заготовлять дрова — все это легло на старшего. Мать — плохая помощница, братья малы. Павлику было физически тяжело без отца. И когда возник шанс вернуть его страхом наказания, они с матерью попробовали это сделать».

«Мать толкала сына предать отца, — сказала нам пятьдесят лет спустя учительница Кабина. — Она темная женщина, досаждала мужу как могла, когда он ее бросил. Она Павлика подучила донести, думала, Трофим испугается и вернется в семью». Родственники Морозова тоже считают, что так оно и было. Сама же Татьяна Морозова, отвечая на наш вопрос, отрицала свое участие в доносе: «Павлик надумал, я не знала, он со мной не советовался». Между тем на суде, как утверждают очевидцы, Трофим Морозов заявил, что это Татьяна подучила сына донести». «Скажу так, — резюмировал Прокопенко. — Не уйди Трофим из семьи — ни доноса не было, ни убийства, и героизм Павлика неоткуда взять. Но этого печатать нельзя!»

Советские писатели, игнорируя реальные факты, подменили конфликт между супругами Морозовыми политической борьбой. Это важно иметь в виду, переходя к подробностям первого героического поступка Павлика — доноса на отца.

Процесс подготовки к доносу, то есть сбора сыном компрометирующих сведений об отце, подробно описан в литературе. Отец, председатель сельсовета, приходил домой поздно, выпивал с род-

³ Единственное упоминание о разводе отца с матерью, буйной свадьбе с новой женой и гулянке, продолжавшейся неделю, имеется в книге Соломеина «В кулацком гнезде». После этого пресса о разводе резонно умалчивала.

ственниками, иногда вечером работал дома. По описанию журналиста Соломеина, все получилось так: когда Трофим дома, то и Павел тут. Глянул осторожно в дверную щелку горницы, где сидел отец, и замер. Отец пересчитывал деньги. Павлик ничего не сказал матери. Только решил наблюдать за отцом. Но ведь в действительности такая слежка была невозможна. Трофим не жил в доме. Чтобы «исправить историю», Соломеин сдвигает уход отца от матери на время после доноса сына, а при переиздании книги развод родителей убирает совсем.

«Трофим работал,— читаем мы в книге Соломеина «Павка-коммунист».— Тихо-тихо, стараясь даже не дышать, Павка встал и на цыпочках подошел к двери. Из горницы доносились приглушенные голоса. Павка прильнул к замочной скважине». Сын хочет выяснить, откуда у отца деньги, и догадывается, что они — от «классовых врагов». Из-за ночных бдений пионер начинает плохо учиться, позорит свой отряд, но ему не до этого. Он весь — в шпионаже. У поэтессы Хоринской в стихотворной биографии Морозова, когда Павлик прислоняет ухо к замочной скважине, слушает и запоминает, ночная сцена приобретает еще более драматический характер. Просыпается мать, осознающая государственную важность деятельности сына. Она говорит в рифму: «Опять не спишь, сынок? Скоро полночь ступит на порог». А сын поясняет читателям: «Врагом стал отец мой, ребята, не мог я отца укрывать!»

В чем же, по словам писателей, вина отца Павлика? Трофим Морозов, председатель сельсовета, давал справки ссыльным крестьянам, чтобы, пользуясь этими документами, они могли вернуться на родину. Крестьян этих раскулачили в основном на Кубани и привезли в ссылку на Северный Урал на лесозаготовки. Писатель Губарев привел в газете «Пионерская правда» в 1933 году полный текст документа.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие гражданину в том, что он действительно является жителем Герасимовского сельсовета Тавдинского района Уральской области и по своему желанию уезжает с места жительства. По социальному положению бедняк. Задолженности перед государством не имеет. Подписью и приложением печати вышеуказанное удостоверяется.

Председатель сельсовета Т. Морозов.

Документ этот с начала и до конца — сочинение самого Губарева. Через пятнадцать лет он переделал его в книге. В первом издании отец печатал справки на пишущей машинке в количестве пятидесяти копий. Позже пишущая машинка из жизнеописания Павлика исчезла. Выражение «жителем Герасимовского сельсовета» меняется на «жителем села Герасимовки». Район тогда назывался Верхнетавдинским. Губарев убирает фразу о задолженности и добавляет дату: 27 июля 1932 года. Эта дата вообще делает всю оценку абсурдной. Морозов-отец был к этому времени давно осужден и отправлен в лагерь.

Между тем Губарев рассказывает, как Павлик украл у отца такое удостоверение, чтобы отнести куда следует. Если не для себя, а для дела коммунизма, то можно и украсть. Коллега Губарева —

журналист Смирнов — излагает эпизод иначе. Отец разорвал бракованную справку. «Не успели затихнуть во дворе шаги, как Павлик соскочил со своей постели и подобрал клочки разорванной бумажки у стола. Зажав их в кулаке, он быстро улегся». Утром Павел разжал руку и стал разбирать клочки бумаги, чтобы восстановить текст. В первых публикациях авторы писали, что Трофим брал за справки деньги. Позже слово «деньги» заменили на «толстые пачки денег».

Кому же и куда донес Павлик на отца? Из многих лиц, которым мы задавали этот вопрос, ни один не сумел вспомнить что-либо. Все приводили сведения, взятые из опубликованных впоследствии книг. У разных авторов место это носит разные названия. Павлик сообщил: в милицию (Бюллетень ТАСС), членам сельсовета (писатель Коршунов в «Правде», 1962 г.); представителю райкома партии (второе издание «БСЭ»), представителю райкома Кучину, иногда именуемому Кочинным (буклет Свердловского музея), инспектору милиции Титову (во многих источниках). По версии писателя Мусатова, мальчик сообщил директору школы, а тот — уполномоченному по хлебозаготовкам (журнал «Вожатый», 1962 г.). Возможен также уполномоченный Тавдинского райкома партии Дымов, который немедленно сообщил куда следует, и уполномоченный без фамилии, который «молод, плечист, в белой рубашке с расстегнутым воротом и в скрипучих сапогах» (Губарев, журнал «Пионер», 1940 г.). Один и тот же следователь ОГПУ носит в разных изданиях фамилии Железнов, Самсонов, Зимин, Жаркий и др. Можно прочесть, что Павел сообщил в следственные органы (журнал «Пионер», 1933 г.), в ЧК (газета «На смену», 1972 г.). И еще два поздних варианта: Павлик рассказал людям («Пионерская правда», 1982 г.) и — рассказал всем (сборник «Подвигу жить!»). Речь, повторяем, идет об одном-единственном доносе.

Журналист Соломеин при переизданиях книг менял место доноса трижды. «Паша... пошел в Тавду и рассказал о проделках отца». (Первая информация с места событий в газете «Всходы коммуны».) Его идею заимствовал поэт Боровин в книге «Морозов Павел», причем для операции им выбрана ночь:

Он спешит. Теперь он все расскажет.
Он бежит, спешит в райком.
И тайга теперь его не свяжет:
Он без отдыха бежит бегом.

Однако от сюжетного хода с Тавдой авторам пришлось отказаться. Дорога шла болотами, были броды через речки, а зимой дорогу заносило. К тому же туда и обратно около 120 километров — почти три марафонские дистанции. Пробежать их без отдыха трудно. Возможно, поэтому позже Соломеин в газете «Тавдинский рабочий» написал туманнее: «Павлик сообщил куда следует». А в книге Соломеина Павлик уже доносит на месте, в деревне — приезжаем: «Один из Тавды. Военный. С наганом. Товарищ Кучин».

Все фамилии сборщиков доносов, перечисленные выше, оказались вымышленными, кроме милиционера Титова. ЧК (Чрезвычайной Ко-

миссии) к тому времени в стране уже не существовало. Что касается работников ОГПУ, то они могли появляться в деревне под любыми названиями и чаще всего как уполномоченные райкома и райисполкома. Не случайно еще в 1932 году Соломеин записал в блокнот слова матери Павлика Татьяны Морозовой: «Когда приехал товарищ Гепеву (т. е. ОГПУ), Паша все сказал».

А может быть, мальчик сочинил письменный донос? «Писал. Писал Павлик сообщение в ОГПУ,— считает Прокопенко.— Люди в деревне всегда найдутся, которые подговорят: посади отца, отомсти за то, что вас бросил. Иван Потупчик, его двоюродный брат, хотел сам стать председателем сельсовета, вместо Трофима. Он и подучил Павлика, куда и как написать». Эту версию мы попытались уточнить у Ивана Потупчика, когда с ним увиделись. «Помогал ли я ему бумагу составлять,— ответил он,— не помню. Но написать это можно, если хотите».

Губарев в «Пионерской правде» вначале тоже написал, что Павлик донес письменно: «Дай-ка, Яша, чистую бумагу,— внезапно проговорил Павел, поворачивая на свет лицо...— Напишем в ГПУ». А потом переделал донос на устный. Татьяна Морозова в одной из бесед с нами сказала: «Павлик написал письмо чекистам и вложил фотографию отца».

На наш взгляд, письменный донос не исключает устного. Встреча с уполномоченным могла состояться для получения дополнительных улик с целью выяснить саму личность добровольного осведомителя для будущих отношений. «Павел пошел в сельсовет,— пишет Соломеин в первой своей книге.— За председательским столом сидел человек в военном. Когда все вышли, Павел подошел к столу: «Дяденька, я расскажу тебе...» Человек все записал и пожал Павлу руку». Писатель Яковлев дополнил Соломеина. Было учтено: кому и сколько давал отец бланков, у кого их брал. Павел якобы донес на многих сразу. Уполномоченный резюмирует: «Раз врагом нашим стал твой отец, и отца надо бить».

Заметьте: бить! Приговор отцу произнесен уполномоченным сразу после доноса ребенка⁴. В журнале «Пионер» писатель Губарев рассказывал, как Павлик украл у отца из-под подушки, когда тот спал, портфель с документами. Проснувшись, отец умолял сына: «Не губи, родимый!» А сын ночью бежит сообщить или, как тогда говорили в деревне, доказать.

Описания эти важны не для выяснения жизненной правды, а для того, чтобы понять, как в прессе рекламировался донос мальчика на отца. Через тридцать лет после появления в печати первой книги Соломеин переписал весь эпизод в новых красках. Перед доносом Павел хитрил. В школе он стоял с книжкой в руках. «Он лишь для вида листал ее, с беспокойством и ожиданием поглядывая в окно. Увидев, наконец, что отец вышел из сельсовета и направился к

⁴ В дореволюционном Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (статья 128) особо оговорено, что доносы от детей на родителей не приемлются, за исключением особо опасных преступлений. Взятки за полученные справки такими преступлениями не считались.

дому, Павка быстро оделся и выбежал на улицу». Опасаясь, чтобы его не выследили так же, как он выследил отца, мальчик старался незаметно пробраться к уполномоченному, прибывшему в деревню: «Павка зачем-то оглянулся, подошел к окну, посмотрел на улицу, во двор и только после этого осторожно присел на скрипучую табуретку».

Со стороны Павла — жажда подвига, со стороны уполномоченного — ремесло. Тот слушал, переспрашивал, уточнял, записывал. Павлик сообщил, что он пионер, председатель совета отряда, и уполномоченный перешел к инструктажу: «А ты, председатель, язык умеешь держать за зубами?» — «Умею!» — твердо сказал Павка и почувствовал, как забилося отчего-то сердце. — «Добро! Договоримся, значит. Во-первых, мы с тобой будто что незнакомы. Ты сейчас приходил не ко мне, а к отцу. А я даже не знаю, что ты сын Трофима Морозова. Во-вторых, ты со мной не разговаривал, спросил только, не знаю ли я, куда ушел отец. Понятно? И если ты увидишь меня даже у вас дома — будто впервые видишь меня. Ясно?»

Теперь он завербован по всем правилам! И чувство принадлежности к особому клану лиц, обладающих властью над людьми, зовет его к новым подвигам. «Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего...» Но это уже не из Соломеина, а из Библии (Пятая книга Моисеева, 12, 30).

Через три или четыре дня после доноса Павла отца арестовали. Арест происходил обычным порядком, но в книгах писателей тех лет все выглядело как в детективном романе. Соломеин в последней своей книге описывает: «Пришли старички в лаптях, помолились, купили справки, а потом взглянули друг на друга и, как по команде, сорвали с себя парики. «Ты арестован, Трофим Сергеевич Морозов», — услышал Павка знакомый голос...» А вот другое описание: подослали к Трофиму в сельсовет незнакомого переодетого милиционера. «Это ошибка, товарищи, вы что-то смешали!» — услышал Паша взволнованный голос отца, и ему захотелось крикнуть: «Не смешали, тятя, не смешали!» Татьяна Морозова рассказывала нам еще эффектнее: «Павлик скомандовал: «Взять его!» И энкэвэдисты бросились вперед».

На самом деле, никого не подсылали, и Павлик не заслужил еще офицерского звания в НКВД, чтобы командовать. Просто пришли с обыском и забрали. Авторам официального мифа пришлось туго: если Павлик Морозов сообщил отцу, что донес он, то разглашается секрет полиции, а если молчал, то как же прогрессивное человечество узнало, что мальчик совершил героический поступок? «Через кого только дознались? — восхищался писатель Яковлев в книге. — Вот какая власть нынче, ничего от нее не скроешь». Автор явно стремился польстить тайной полиции.

Через три месяца худой, рваный, грязный, заросший (Трофим до этого брил бороду) отец был приведен на суд в Герасимовку пешком под конвоем двух милиционеров. Кормить преступника в деревне было негде, и он едва держался на ногах. Его вторая жена Нина Амосова уехала из деревни и вышла замуж за другого. К Татьяне и детям Трофим заходить не захотел. Охранники отдали его

отцу с матерью на три дня под расписку. Здесь-то и возник вопрос, кто донес.

Павлик пришел в дом деда, где был отец. Трофим спросил его о доносе. Сын сперва отрицал свою причастность и дал ему вдоволь потерзаться в догадках. Насладившись, Павлик нанес удар, сообщив, что это благодаря ему будет суд. «Трофим заплакал, — записал Соломеин показания очевидцев. — Мороз (дед. — Ю. Д.) соскочил, раз Пашке в ухо, второй... Пашка заревел и спросил:

— Что делаешь?

— Убью паразита!

Мужики отобрали Пашку и увели».

Выездную сессию суда проводили в деревенской школе. Местом заседания выбрали класс. Павлик на суде был скромно и величествен. Поэтесса 50-х годов Хоринская рисует его весьма довольным собой:

И мне задавали вопросы,
Как звать-величать, кто родня,
И судьи «свидетель Морозов»,
Как взрослого, звали меня.

Замечательная речь Павла Морозова на суде имеется у нас в двенадцати (!) вариантах. Полностью приведем неопубликованный текст из архива Соломеина, как самый первый по времени. Оставляем на совести Соломеина достоверность и грамотность оригинала.

«Дяденька, мой отец творил явную контрреволюцию, я как пионер обязан об этом сказать, мой отец не защитник интересов октября, а всячески старается помогать кулаку сбежать, стоял за него горой, и я не как сын, а как пионер прошу привлечь к ответственности моего отца, ибо в дальнейшем не дать повадку другим скрывать кулака и явно нарушать линию партии, и еще добавлю, что мой отец сейчас присвоит кулацкое имущество, взял койку кулака Кулуканова Арсения и у него же хотел взять стог сена, но кулак Кулуканов не дал ему сена, а сказал, пускай лучше возьмет х...»

Койку отец взял у родной сестры, на нее он хотел постелить сена. Заметьте: в речи нет ни фальшивой справки, ни взятки, ни единой улики. Для доказательства вины отца он добавляет к интересам октября (то есть революции) кровать и сено. Потом, в книге, Соломеин, разумеется, вставит в речь фразу о справках, выданных за взятки.

С чьих слов записал Соломеин речь Павла, установить не удалось. Единственная документальная ссылка на слова мальчика имеется в деле № 374 об убийстве Павла Морозова. Это «Характеристика на убитых Морозовых Павла и Федора», подписанная работниками сельсовета. Но и она не содержит улики: «...При суде сын Павел обрисовал все подробности на своего отца, его проделки». Опубликованные в газетах, журналах и книгах речи Павла на этом суде восходят к тексту, составленному Соломеиным.

Печать сталинской эпохи рисует сцену суда с показательным цинизмом. На крик отца: «Это я... Я! Твой батька!» Павлик, по словам журналиста Смирнова, заявил судье: «Да, он был моим отцом, но больше я его своим отцом не считаю». Эти слова в реальной жизни

повторяли миллионы людей, проходя через допросы. Говорят, Трофим упал, услышав отречение сына. Губарев в отчете, опубликованном в «Пионерской правде», отделил чувства от убеждений: «Не как сын, а как пионер». «Пионерская правда» пошла еще дальше, назвав Трофима «бывшим отцом»: «Вспомните речь Павлика на суде своего бывшего отца-подкулачника».

Поэт Боровин в 1936 году зарифмовал один из вариантов речи Павлика на суде:

Дяденька! Отец мой,— начал Павка,—
Помогал проделкам кулака;
Помогал врагам, давал им справки,
Прикрывал их маской бедняка.
Да, теперь в колхозе всякий знает:
Он в совет пролез не зря,
И, как пионер, я заявляю:
Мой отец — предатель Октября.
Чтобы все кулацкие угрозы
Не страшили нас бы никогда,
Я отцу — предателю колхоза —
Требую сурового суда...

Приговор вынесли поздно ночью. Журналист Смирнов в «Пионерской правде» писал: «Отца осудили и сослали на десять лет». Такой же приговор указан в Бюллетене ТАСС. Соломеин в книге указал, что отец получил не ссылку, а «десять лет строгой изоляции (то есть лагерей строгого режима.— Ю. Д.) с конфискацией имущества». Однако в документах говорится только о ссылке. В 1938 году в книге о Морозове Смирнов вдруг заявил, что отца осудили лишь на пять лет. Дело в том, что в органах юстиции тогда были обнаружены «враги народа» и объявлено, что зря пострадало слишком много трудящихся. В соответствии с политикой данного момента писатель сбавил Трофиму срок.

За что был осужден Трофим Морозов? Почему приговор за подделку документов был столь суров? Отца Павлика официальная печать описывала черной краской. Писатель Анатолий Алексин в «Литературной газете» называл Трофима тупым, корыстолюбивым, ничтожным и жалким. Художник Дмитрий Налбандян в «Комсомольской правде» писал: «Звериный облик отца Павлика». Писатель Губарев, вначале находивший в нем нечто человеческое, через несколько лет в новых изданиях приписал Трофиму новые черты. Отец стал пьянчужгой, а затем и вором: он крадет в ларьке конфеты и сам ест их, а Павлик гордо отказывается от угощения. Еще позже Губарев превратил Трофима в «хитрого и злого врага».

Между тем Трофим, по герасимовским меркам, был незаурядной личностью, его до сих пор поминают добром, в отличие от его первой жены, которую в деревне не любят. «Трофим не только не пил, но и не выпивал, это все ложь,— говорила нам учительница Зоя Кабина.— Высокий, с красивой шевелюрой, стройный, хотя и полноватый, он был значительным человеком». Трофим был смелым солдатом в гражданскую войну, в боях за Советскую власть дважды ранен. Оставленная им жена Татьяна говорила нам: «Восемь раз

Колчак ранил его, жалко, что в девятый не убил». «Грамотный, авторитетный, — вспоминает Н. И., бывшая герасимовская жительница, — его избрали председателем сельсовета не так, как сейчас выбирают — единогласно и лишь бы не меня! — а с обсуждением достоинств, с надеждой, что будет справедливым старостой».

Писалось, что несколько кулаков вытолкнули его в председатели, чтобы он укрывал их, но это неправда. Выдвигали его на собрании всей деревней, и долгое время он устраивал как народ, так и новую власть. Прежний председатель сельсовета проворовался. Учительница Кабина предложила на собрании избрать председателем Трофима Морозова. До самого ареста она была с ним в хороших отношениях и, стало быть, вряд ли могла, как писалось не раз, посоветовать его сыну донести.

Трижды переизбирался Трофим председателем, значит, крестьяне в нем не ошиблись. Благодаря уму и гибкости, он мог находить среднюю линию между грубым давлением сверху и упрямым нежеланием мужиков делиться своим хлебом с большевиками. Трофим требовал оброка от односельчан, то есть выполнения поставок государству. Положение его было нелегким. Прибывавшие в деревню уполномоченные добивались от председателя сведений: сколько у кого земли, применяют ли наемный труд. Они сообщали об этом наверх, а оттуда поступали списки на раскулачивание. «Многих арестовывал он и отправлял в Тавду», — писал Соломеин в первой книге. Крестьяне тоже угрожали Трофиму, что могут донести на его отца, что тот, будучи надзирателем в тюрьмах, издевался над большевиками, и тогда, мол, Трофима снимут с должности. Донос висел в воздухе.

Вместе с тем председатель сельсовета не очень шел на откровенность с уполномоченными, сдерживал чересчур агрессивных, готовых забрать хлеб подчистую. Трофим хитрил, преуменьшал сведения о запасах хлеба, научился делать туманные обещания в расчете на то, что присланного представителя сменил другой, более покладистый. И не ошибался: менялись они часто. «Выступая на собраниях, — писал Губарев в «Комсомольской правде», — он ратовал за колхозы, а дома подсмеивался над тем, что говорил на собраниях».

Но настал момент, когда сдержанность Трофима начала раздражать присылаемых сверху уполномоченных, и его решили убрать. В приговоре суда об убийстве Павлика обстоятельства дела Трофима звучат так: «...Будучи председателем сельсовета, дружил с кулаками, укрывал их хозяйства от обложения, а по выходе из состава сельсовета способствовал бегству спецпереселенцев путем продажи документов». Выходит, что он вышел из сельсовета до ареста! Мы не знаем, убрали ли его чиновники из района или он сам отказался сотрудничать с Советской властью. В любом случае, именно конфликт с властями и послужил толчком к мести — заведению на него уголовного дела.

Рассмотрим поступок, за который его осудили. Тобольская губерния, куда входила Герасимовка, была постоянным местом ссылки. Сюда попадали осужденные разных категорий, но в конце XIX и начале XX века — в основном за экстремистскую деятельность. По количеству политических заключенных эта губерния до революции

1917 года занимала первое место в России. 12 апреля 1913 года большевистская «Правда» в статье «Бедствия ссыльнопоселенцев» писала: «Вместо ссылки получается казнь. Удивительно ли, что, несмотря на грозящую за побег каторгу, большинство старается бежать с места ссылки, часто предпочитая рисковать каторгой, чем медленно умирать в тундрах Сибири». Под влиянием ссыльных местные жители прониклись ненавистью к существующим порядкам и оказывали содействие их жертвам. Бежал отсюда каждый второй-третий⁵.

Разумеется, помощь беглецам местные жители оказывали чаще всего за деньги. Бежавшие без особых трудностей попадали за границу. В 1900 году журнал «Тюремный вестник» (№ 6—7) сообщал, что сибирскую ссылку высочайшим повелением отменили, а точнее — сократили на 99 процентов как наследие прошлого (вроде пыток и телесных наказаний), вредное для края. Ссылались лишь наиболее опасные представители подпольных организаций, в частности большевики. Сталина, например, арестовывали семь раз, ссылали пять раз, бежал он из ссылки четырежды. В разгар репрессий 30-х годов, после суда над Трофимом, страна официально праздновала 30-летие первого побега Сталина из сибирской ссылки.

Сосланные Сталиным в Сибирь крестьяне рвались на родину, не понимая, за что их привезли сюда. Число ссыльных поселенцев в советское время постоянно росло: в 20-х годах сюда везли казаков с Кубани, в 30-х — украинцев, в 40-х годах — латышей и все время — русских. Находились и люди, готовые им помочь. Но то, что, с точки зрения большевиков, было гуманно вчера, ныне, когда они захватили власть, стало преступлением. В народе такая перемена взглядов не могла произойти быстро: ссыльные для сибирских жителей оставались страдальцами. В этом смысле деятельность большевиков пропала даром.

Царское правительство сравнительно мягко наказывало тех, кто помогал ссыльным. Теперь на них обрушились репрессии даже более жестокие, чем на самих беглецов. «В спецпоселках комендантуры следили за людьми, — вспоминает учительница Кабина. — Исчезает человек — сообщают, идут с собаками. Из Герасимовки тогда тоже выслали человек двадцать, и летом сосланные бежали сюда с Севера, жили в лесу, в шалашах, им тайно носили еду». Один из лагерей ссыльнопоселенцев находился в двадцати километрах к северу от Герасимовки. Здесь от голода и болезней в болотах умирали тысячи людей, привезенных с юга России. Им терять было нечего: кто не бежал, погибал в тайге.

Теперь, при Советской власти, организаций, помогающих беглецам, не осталось, но отыскивались добрые люди. Трофим Морозов не был борцом за светлые идеалы справедливости, и, если он помогал голодным и умирающим вернуться домой, он рисковал сам. Если за справки беглецам он брал деньги, то есть взятки, то деньги эти были ему главным образом на пьянки с районным уполномоченными — в расчете на то, что они будут милостивей и оставят часть

⁵ Ссылка и общественно-политическая жизнь Сибири 18-го — начала 20-го веков. Сборник. Новосибирск, 1978.

хлеба жителям. Одного не предвидел Трофим — сыновнего предательства. Но брал ли он взятки?

В газете «Тавдинский рабочий» после убийства Павлика писало: «Банду во главе с Трофимом Морозовым судила выездная сессия в Герасимовке». «Арестованы были Трофим и два члена сельсовета, — вспоминает одноклассник Павла Прокопенко. — Потом приехали неизвестные люди и посадили нового председателя». Однако, как выяснилось, все происходило не так просто и совсем не так, как писали сочинители официального мифа. Вот что рассказал нам крестьянин деревни Герасимовка Байдаков: «Когда ушел из председателей Трофим, оказалось, что в сельсовете справки по-прежнему выдают. Туда обратился один спецпереселенец, попросил справку. Ему дали чистый бланк, велели за ночь дойти до станции и быстрее уехать. Ну, он вышел на станцию и ищет: к кому обратиться, чтобы был грамотный да бланк заполнил. Видит, гуляет прилично одетый пассажир, ждет поезда. Он к нему. Тот согласился помочь. «Пойдем, — говорит, — ко мне на квартиру. Привел его на улицу Советскую, дом 39, в районное ОГПУ. Он оперуполномоченным оказался. Сразу на допросы: где, да как, да кто. Пообещали ему: если поедет с ними в Герасимовку и еще справку достанет, отпустят. Повезли беднягу два вооруженных чекиста, дали деньги, наколотые иголкой, то есть меченые, и всех в сельсовете взяли. Оказалось, подпись Трофима они рисовали. Именно рисовали, так как сами были неграмотные».

«За сельсоветом следило ОГПУ, а не Павлик, — говорила нам учительница Кабина. — Но суд не мог доказать вины Трофима Морозова, и тогда сын заявил, что видел, как отец этим занимался. Павлик не мог видеть, как тот подделывал справки. Могла знать его мать Татьяна, да и то из сплетен». Это подтверждает и крестьянка Беркина: «У Трофима улики не нашли, и он бы отвертелся. А Павлик заявил, что отец брал взятки. Павлик не был свидетелем на суде, как пишут, они сами с матерью пришли. И Татьяна давала на суде показания против Трофима, то есть донесла она сама. Тогда Павлик тоже показал на отца, даже судья его остановил: «Ты маленький, посиди пока».

Итак, возможно, Трофим вообще не был виновен в том, в чем его обвиняли. По меньшей мере, его вина на суде не была доказана. Он уже не работал в сельсовете. Фальшивые справки выдавались за деньги теми, кто там продолжал работать. Пойманные с поличным, они под страхом наказания свалили вину на Трофима, сделав его соучастником.

Мы недооценили бы роль секретных органов, если бы предположили, что те полагались только на мальчика. Наивно думать, что за четырнадцать лет Советской власти, к моменту суда, ОГПУ не завербовало в деревне взрослых доносчиков. Но донос мальчика на отца все же можно считать доказанным фактом. Сделан он был не по политическим причинам. Реальная причина доноса — жгучая ревность оставленной женщины, решившей отомстить бросившему ее мужу.

Отца Павлика отправили по этапу на Крайний Север. Герасимовцы вспоминают, что он написал письмо Татьяне и детям — не из

ссылки, а из лагеря. После убийства детей Морозовых заведующий клубом, бывший по совместительству секретарем партячейки, сочинил Трофиму ответ от имени Татьяны, чтобы он, как враг народа, больше сюда, в Герасимовку, писем не слал: нет тут у него ни жены, ни детей. 28 ноября 1932 года газета «На смену!» сообщила, что Трофим погиб.

«Его приговорили к расстрелу после убийства Павлика, на всякий случай», — сказал колхозник из Герасимовки, без вины отсидевший в лагерях и не назвавший своего имени. Татьяна Морозова на наш вопрос сообщила: «Я написала в Верховный Совет — узнать, что с Трофимом. Ответили, что он расстрелян. Он сам себе яму выкопал перед расстрелом». — «Откуда это известно?» — «Мне сказали».

Так или иначе, Трофим Морозов исчез в лагерях.

